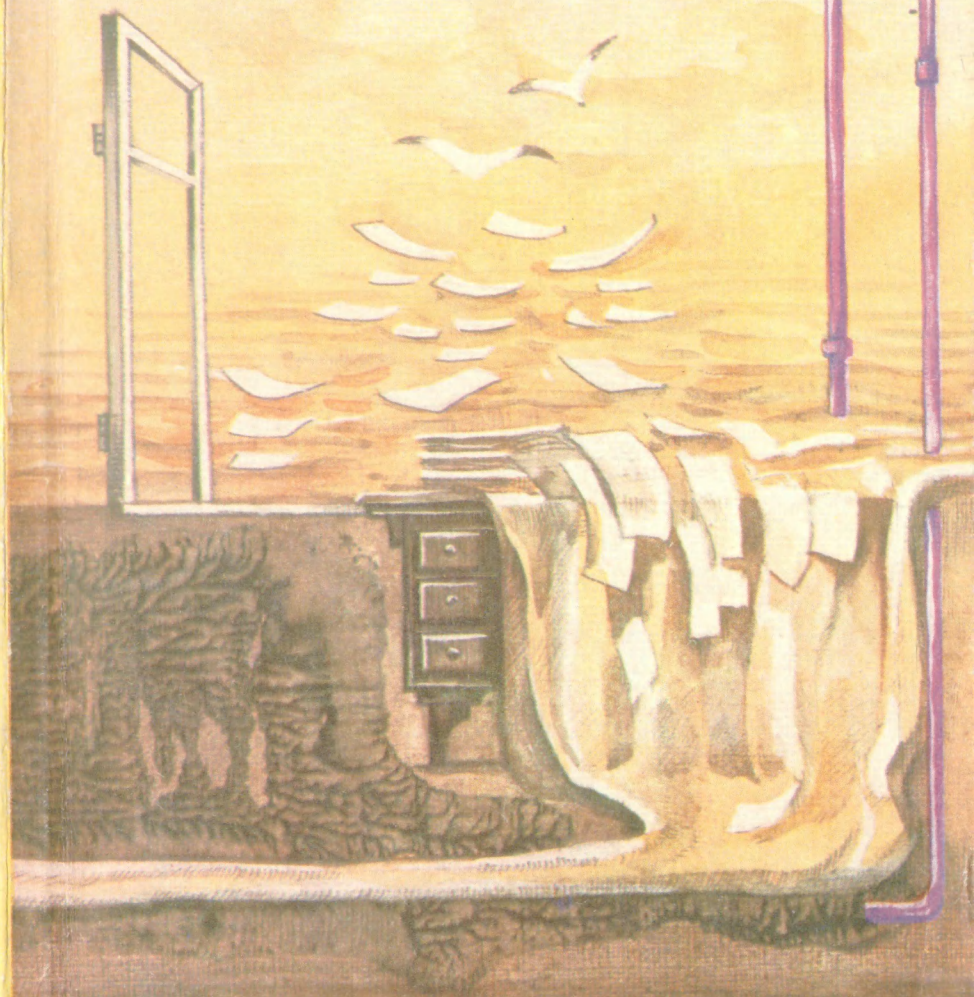


Ф. ДЫМОВ
ПОЛТОРЫ
СОСУЛЬКИ



Феликс Дымов

ПОЛТОРЫ СОСУЛЬКИ

СБОРНИК ФАНТАСТИКИ

ЛЕНИНГРАД
СП «С М А Р Т»
1 9 8 9

СОДЕРЖАНИЕ

ЭХО ВРЕМЕНИ

Фантастическая гравюра	5
Сиреневый туман	21
Эхо	38
Хомо Авиенс	52
А она уходила.	71

ИЩУ СЕБЯ

Авария	87
Я+Я	98
Ищу себя	117
Полторы сосульки	144
На углу Митрофаньевской улицы	166
Эринния	179

ДЫМОВ Ф. Я.

Д 88 Полторы сосульки: Сборник фантастики. —
Л.: СП «СМАРТ», 1989. — с.

В своих рассказах автор продолжает исследование своей
излюбленной темы: человек в движущемся, изменяю-
щемся мире.

ФЕЛИКС ЯКОВЛЕВИЧ ДЫМОВ ПОЛТОРЫ СОСУЛЬКИ

Редактор А. Л. Мясников. Художник Т. В. Королева
Технический редактор Т. Д. Раткевич. Корректор Е. Я. Лапкин

Сдано в набор 12.09.89. Подписано в печать 5.10.89. М-19748.
Формат 84×100¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура журнально-рубленая.
Печать офсетная Усл. печ. л. 6,25. Уч.-изд. л. 9,72. Заказ № 1962.
Тираж 100 000 экз. (Первый завод 50 000 экз.). Цена 2 р. 50 к.

Совместное Советско-финское предприятие «СМАРТ»
191040, Ленинград, ул. Пушкинская, д. 10

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

ЭХО ВРЕМЕНИ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ГРАВЮРА

Прежде всего, она не была гравюрой, как это понимают специалисты, хотя именно под этим названием и приобрела свою популярность. То есть, я хочу сказать, она не была оттиснута с деревянного или любого другого клише — ее писали самостоятельно, в классической манере короткого мазка, с виртуозной отработкой фона. А гладкая, без единого следа кисти поверхность ее еще больше, чем даже сочные неожиданные краски, напоминала лубок или литографию.

Оговорюсь заранее: я никогда не причислял себя не только к специалистам, но даже просто к ревностным любителям живописи. Я знал единственную классификацию: картины приличные — и мура. Да и ценность их представлялась мне в виде некой странной рифмованной последовательности: след, свет, сюжет, портрет. След должен оставаться в моей душе, тут все ясно. Свет. . . Ну, это свет. Например, в полотнах обоих Рерихов и Рокуэлла Кента. С сюжетом сложнее, просто так не объяснишь. Я не люблю натюрмортов, в картине, на мой взгляд, обязательно должно что-то происходить. Пусть там воюют, целуются или возносятся на небо. В крайнем случае, пусть ничего не делают, но живут — ведь именно так получаются портреты, а человеческие лица безусловно приятнее бессмысленных упражнений с предметами. Вот хотя бы. . . Впрочем, мне все равно никто не поверит. Лучше уж пользоваться общепризнанным эталоном — улыбкой Джоконды.

Так вот. Нашумевшая впоследствии картина была портретом. А если быть совсем точным — иконой. Я получил ее в подарок от бабушки. А поскольку я всегда был убежденным атеистом, подарок не вызвал у меня никакого восторга. Но мне не хотелось никого обижать, тем более бабушку: моя обожаемая старушка примчалась на мою свадьбу из глухой деревушки Псижа Новгородской области. Она всплакнула, по очереди обнимая меня и мою молодую жену, и сказала:

— Благословляю вас, детушки, самым дорогим, что только есть у меня на свете. Это старинный чудодейственный образок. Я знаю, вы теперь живете по-другому, и не осуждаю вас. Но все-таки обещайте мне всегда его хранить. Пусть приносит счастье в новую семью.

— Он слишком хорошо выглядит, чтобы быть древним, — возразил я, взвешивая на ладони небольшую доску.

Одну сторону доски, без полей и рамки, занимал поясной портрет старца с несколько усталым художавым лицом. Не знаю, можно ли о лице сказать «усталое», но именно такое впечатление произвели на меня впалые щеки и выпуклый, неестественно высокий лоб с узлом морщин посередине. А глаза глянули на меня так пронзительно, с такой спокойной мудростью, что я вздрогнул.

— Никто не ведает, сколько ему лет, — продолжала бабушка. — С тех пор, как я себя помню, он всегда был таким. Чудодейственный образок...

Я неопределенно хмыкнул — не верю я в эти увядающие краски! — и сунул образок на полку между книгами. Через неделю я бы по старой холостяцкой привычке забыл о нем. Но тут случилось нам разбирать книжные сокровища, удвоившиеся с приходом Лиды. Наткнулись на бабушкину икону. И меня опять поразило удивительное лицо иконописного старца.

Я всегда представлял святых такими сморщенными стручками, низколобыми и хмурыми, с фанатическим полыханием в зрачках и обрубленными пальцами или иными следами убиенной плоти. А тут — высоченный лоб мыслителя и глаза, для которых нет тайн. Как бы я ни относился к религии, но этот взгляд не должен был упираться в пыльную книжную обложку. Нет-нет, между книгами ему не место! И после коротенького спора — сплошных взаимных уступок — мы повесили образок над нашим изголовьем — под самой полкой с внутренней стороны. Скрытый от посторонних глаз, старец немигающе смотрел перед собой и что-то беспрерывно выпытывал. Мы постоянно ощущали на себе этот взгляд — живой, пристальный и бесконечно мудрый. И чем

прозрачной для вечного наблюдателя делались наши жизни, тем настойчивей и изощренней становился его безмолвный вопрос. Это трудно объяснить, но где-то внутри подсознательно вызревало убеждение, что он представитель потусторонних сил. Всяких там загробных, сверхъестественных и надчеловеческих. . . Ни больше ни меньше.

Для меня впечатление было особенно мучительным в силу своей двойственности. Я атеист. Атеист законченный, убежденный. Даже, я бы так осторожно сказал, воинствующий. И не то чтобы меня кто-нибудь особенно агитировал. Или, скажем, насильно вырывал из меня это признание. Совсем нет. Просто каким-то образом с детства, с книгами и наблюдениями в меня вошла вера в материальное. В окружающем меня мире не нашлось места богу. Наивысшим критерием любого действия или явления я начал считать закон сохранения энергии — закон, по которому немыслим никакой акт творения. Ибо что такое акт творения? Божественное создание всего из ничего.

С этих своих прочных позиций я могу объяснить всё. Абсолютно всё. . . кроме разве факта собственной смерти. Действительно. Мне больно и обидно, но в конце концов нетрудно представить себе пустоту вместо любого человека, самого знакомого или крайне близкого. Его не будет — и «*De mortuis out bene, out nihil. . .*»¹ Но как представить себе свое собственное отсутствие? Распад ощущений? Черноту вместо полнокровных неуловимых мыслей? Короче, как моему единственному и неповторимому «Я» ощутить всю бессмысленность и бесконечность собственного небытия? Бр-рр! Пожалуй, только этим меня и не устраивает материализм. Однако я скорее поверю в переселение душ или в непостижимое ментальное поле Вселенной, чем в существование загробного мира!

И вот мне, стихийному материалисту, да еще с философским уклоном, попадаетеся сие потустороннее произведение — живое воплощение «Портрета Дориана Грея»! Я бы, может, смирился, будь

¹ О мертвых следует говорить хорошее или ничего.

оно из древней египетской пирамиды или из забытого индийского храма. Но православная икона? Икона!!

Я предположил, что впечатление одушевленности, «эффект присутствия» старца происходит от мастерства иконописца. Моим любимым занятием стала детская игра в «гляделки»: кто кого пересмотрит. Конечно, я всегда первый отводил взгляд. Но мне кажется, вовсе не потому, что состязался с портретом: просто его глаза излучали куда больше жесткости и леденящей силы!

Постепенно я изучил каждую черточку необыкновенного лица, запомнил любую его деталь — от легчайшего колышущегося на ветру хохолка над огромным, едва припушенным по краям и потому обнаженным лбом, до затейливого завитка под крохотным, с едва намеченными губами ртом. Станный, никогда мной не виданный узел морщин выглядел неестественным, но не посторонним посреди гладкого лба. А диковатые, чуточку асимметричные усики как-то уж очень неизбежно переходили в небольшую ладную бородку, взбитую незатейливыми и мягкими колечками.

Это был во всех отношениях необыкновенный портрет, чью необыкновенность лишь подчеркивало то, что когда-то его сотворил богомаз.

Но скоро я узнал, что мой портрет не единственный в мире.

Как-то раз, перелистывая немецкое издание «Собрания новгородских икон», я наткнулся на точно такого же старца. Не очень владея языком, я тем не менее разобрался, что где-то — впрочем, что значит, где-то? — под боком у меня, в Новгороде — существует огромная, 177×129 сантиметров, икона. А раз так, то мой чудодейственный образок, о котором пока не подозревает никто из историков, всего лишь ее маленькая копия. Это было неожиданно и обидно — ведь я привык считать себя единственным владельцем чуда!

В каталоге «Художник РСФСР», куда я заглянул по совету Лиды, я наконец отыскал моего старца в натуре. Разумеется, если натурой считать репродукцию деревянной, писанной яичной темперой

иконы, хранящейся в Новгородском историко-архитектурном музее-заповеднике. В каталоге приводился и текст уставной надписи: «В лето 6802 (1294) при князи Андреи Александровичи и при архиепископе Клименте и при посаднике Андреи Климовичи написана бысть икона сия повелением и стежанием раба божия Николы Васильевичъ святому Николѣ в честь и славу от века и до века. А писал грешный Алекса Петров сын. Да в лето 7064 (1556) при державе царя и Государя великаго князя Ивана Васильевича всея Руси самодержца и при архиепископе Пимене Великого Новгорода и Пскова повеле-нием и стежанием Никольского игумена Антония обновлен бысть си образ святого Николая Чудотворца Липенского монастыря».

Вот так. Никола Липный. Николай Чудотворец Липенского монастыря.

Больше всего меня поразили даты: 1294 и 1556. Дата написания и дата обновления. Дело в том, что на обороте моего образка было одно число: 6801. Раньше мне это ничего не говорило. Но теперь! О, теперь это значило, что «грешный Алекса Петров» написал моего старца на целый год раньше большой иконы. Вероятно, как этюд к будущей доске — чуть не сказал, к будущему полотну. И никто никогда не обновлял образок — в течение почти семисот лет! От такого вывода у меня даже голова закружилась. Семьсот лет! Четверть изученной земной истории. А образок и не думает стареть или тускнеть. Будто вчера нарисованный! В чем же секрет неува-дающих красок? И почему искусник-богомаз не повторил своего изобретения для уставного обра-за, а написал его обыкновенной яичной темперой? И, наконец, кто же ему позировал?!

Я по-новому, с еще большим интересом и уваже-нием посмотрел на Николу-чудотворца. Его лицо было по-прежнему живо и непроницаемо. И та-ким же упорным, неотвратимым, как удар, был взгляд.

О, этот взгляд! Я чувствовал его даже с закры-тыми глазами — всей кожей, нервами, волосами, каким-то периодическим и безболезненным жжени-ем языка, внезапной искоркой по руке, неожидан-

ным и приятным нитьем зубов. А может быть, еще более тонкими и неосознанными способами восприятия? Не случайно ведь мысль о сверхчувственных, неизвестных науке колебаниях материи приходила на ум, когда бессонными ночами я прятался от «святого» за вязкой стеной глухого мрака или, не выдержав, набрасывал на икону мохнатое полотенце. Ибо сквозь плотную ткань и сквозь крошечный мрак повсюду в комнате находил меня этот взгляд.

Нет, я не боялся Николы. Ни его «святости». Ни его древности. Ни даже того, что картина — с этого момента я незаметно начал называть икону просто картиной, пока еще раз не переменял названия на гравюру, — так вот, повторяю, меня уже не испугало очередное открытие, на которое образок оказался так щедр. Картина всегда была чуточку тепловатой. Тепловатой для глаза. Тепловатой на ощупь. Тепловатой навеваемым настроением. . .

Нам знакомы понятия «теплые тона», «теплый день», «теплая кастрюля». В иконе суммировались все эти ощущения тепла: от красок, от солнечного дуновения, от огня. Тепло воспринималось глазами, ладонями, лицом. Теплая на ощупь — это качество стало ее неотъемлемым свойством. Я специально выносил Николу на мороз, тер снегом, поливал водой. Условия экспериментов были, конечно, варварскими. Но характер у Чудотворца не портился. Интересно, что сама эта теплота ощущалась все время по-разному — трогаешь икону днем или ночью, на рассвете или в час заката, в солнце или в грозу. Нельзя сказать, что икона светилась, или там горела, или тлела. Термометр никак не реагировал на колебания температуры «святого». Тем не менее, эта теплота не оставалась мертвой и однородной. Она грела и ощущалась так же материально, как взгляд Чудотворца.

Я уже сказал, что не боялся Николы. Но однажды все-таки даже мне стало жутко.

У меня много лет воспитывался ручной уж Ромка — умнейшее безобидное пресмыкающееся почти метровой длины, с зеленоватой черной спинкой

и двумя оранжевыми пятнышками на задней части головы. Жил он спокойно и независимо, появлялся когда хотел, ел только то, что нравилось. А нравились ему исключительно молоко с белой булкой. Да и то не со всякой: он почему-то терпеть не мог саяк. Еще Ромка любил лягушат, ловил мышей, а насытившись, испытывал живейшую необходимость отоспаться под моей подушкой. Заберется, голову высунет и лежит, лишь язычком постреливает.

Вполне естественно, это пришлось не по душе моей молодой жене. Вообще-то у Лиды характер вполне милый, легкий. А вот перед змеями какой-то инстинктивный, патологический ужас. И тут уж ничего нельзя было поделать. Какая разница, ядовитая ли это гюрза или совершенно ручной уж, если только самый нежный шелест по паркету превращал Лиду в мертвенно-белый манекен? «Или он или я!» — заявила Лида, не оставляя мне выбора. Пришлось заточить Ромку в клетку. Отдать его в зоопарк или куда-нибудь в школьный живой уголок не хватило моих сил — слишком привык я к нему за полтора десятка лет.

Надо сказать, он отнесся к переменам философски. Спокойно посматривал на мир со своего нового места на приемнике, как раз напротив нашего дивана, и всем своим видом даже сквозь проводочную сетку выражал полнейшее презрение к этим временным трудностям. Он продолжал со вкусом лакать молоко, с интересом прислушивался к музыке из полированного ящика под ним, заглатывал целиком лягушат и полеживал потом, изогнувшись в черный знак бесконечности.

Но вот я заметил, что Ромка тоже перестал спать. Целые дни над свитым в кольцо телом торчала Ромкина голова, уставив в нас пристальный змеинный взгляд. Про день я уже не говорю. В любое время ночи можно было включить лампу — и уколотся о две блестящие бусины — две холодные засасывающие бездны.

Я чувствовал, что Лида нервничает по-прежнему. Да и сам понимал: долго так продолжаться не может. Однажды она схватила меня за руку:

— Убери его. Куда хочешь девай. Он меня ненавидит!

— Кто?

— Сам знаешь. Он возненавидел меня за то, что его посадили в клетку. Эта ненависть давит и обволакивает меня. Я ощущаю ее каждой клеточкой тела — от волос до ногтей на ногах. Убирай куда хочешь!

— Глупенькая, что ты выдумываешь?

— Нет, нет! Ты посмотри, как он смотрит. Он убьет меня одним этим взглядом. Я боюсь. Мне страшно спать на этом диване, под этим взглядом, под этой иконой. Прошу тебя: сделай что-нибудь. Унеси его. Он все равно меня подкараулит, а если это случится, если он только дотронется — я умру от одного его прикосновения!

Это был абсурд. Бред. Мистика. Чернокнижие, в конце концов. Но абсурд последовательный. И правдивый. Разумом я сознавал, что такого быть не может. Но где-то в подсознании, в неподчиненном контролю уголке мозга нарастало крошечное сомнение и немислимыми путями, какими-то зигзагами самовнушения пробивалось в сознание, отравляя и запутывая всю реальность происходящего. Собственно, если наши газеты всерьез могли рассуждать о любви кобры к пограничнику (помните, всю печать обошли эти смешные статьи?), то почему у другого пресмыкающегося — ужа — не могло возникнуть противоположного чувства к человеку — ненависти? Сердцем, вполне по-человечески, я где-то даже оправдывал это существо.

Ситуация! Всю жизнь я свято верил в естественное. И тем больше, чем больше оно оспаривалось искусством, религией или оккультизмом. Я млеял от сладких ужасов, зачитываясь чудовищными вымыслами Орасио Кирога. Отмахивался от необоснованных претензий на всезнание христиан. Наслаждался феериями Блаватской и Крыжановской, презирая их за убогую мотивировку явлений, за фанатическое невежество, за божественную экзальтацию. И никогда не пасовал перед их «эзотерическими тайнами», понимая всю эфемерность воздействия их произведений на мою психику. Оккультисты затраги-

вали глубоко, но ненадолго. Да и в эти короткие периоды сопереживания я не смешивал их вымыслов с окружающим меня реальным миром. Выдумки оставались в книжке. А мир сохранял свою твердость, доступность, объяснимость, поддавался эксперименту, всегда одинаково отзывался на одни и те же действия.

По натуре я готов допустить самое невероятное и сверхфантастическое событие — лишь бы для него нашлось материалистическое толкование. А тут впервые столкнулся с вещью, которая этого самого толкования не имела. И пока разум мой твердил, что «этого не может быть, потому что не может быть никогда», вся эмоциональная половина моей души восставала против него, и я ничего не мог поделать с собственным дуализмом.

Я дождался, пока Лида куда-то ушла, и открыл клетку.

Ромка зашевелился, высунул сквозь дверцу голову и плавными извивами потянул свое длинное тело сначала на приемник, потом мне на руку и на плечо. Он любил тяжелым зеленовато-черным галстуком повиснуть у меня на шее, и два оранжевых пятнышка ложились обычно туда, где полагалось быть сверхмодному узелку. Но сегодня он полз и полз и, едва выпростав из клетки хвост, вдруг неуловимым броском без толчка прянул в воздух. Упругая лента — воплощенная отточенность и грация — перелетела комнату, скользнула над нашим диваном и бесшумной черной молнией вонзилась в святой лик Николы-чудотворца. Я никогда не подозревал, что длинное ужиное тело — итог миллионолетней эволюции, которая довела приспособляемость вида до умопомрачительного совершенства, убив этим в нем самую возможность дальнейшего развития, — я никогда не подозревал, что ужиное тело обладает такой огромной силой. Ромка вмазался, вложился в портрет, изломав и скомкав себя, как вкладывается — колено в колено — подзорная труба. Мы не угадали в Ромке преданности, переводя на понятный нам язык взаимоненавистнических отношений странное Ромкино поведение. А он, вооруженный могучим инстинктом — этой

бесконечной памятью поколений, наделенный изощренными, недоступными человеческому восприятию органами чувств, всем опытом многовековой борьбы за существование, — он уловил какую-то подозрительную враждебность в пронзительном взгляде Николы. И поступил так же, как поступали до него миллиарды змей: атаковал.

Вот тогда мне и стало жутко. Что же такое проявилось для Ромки с его инфракрасным зрением? И что все-таки с такой силой бросило его на икону, хотя змеи никогда не охотятся на неподвижные предметы, тем более — неодушевленные?

Я снял своего «святого» со стены, повертел так и эдак. Икона как икона. Святой как святой. Обыкновенный чудотворец. Семисотлетний шалун со странной привычкой не зябнуть и не отводить глаз. Загадка, которую я не мог отгадать. . .

И тогда я решился: завернул Николу в старую газету и понес к другому знакомому мне чудотворцу, Сережке Троянцу. Сережкино прозвище говорит само за себя. . . и ничего не говорит. Потому что, по нашему мнению, он был искусен, как житель древней Трои: знал и умел всё. То есть рисовал. Писал стихи. Фотографировал. Сочинял. Но лучше всего играл — играл человека, который знает и умеет всё. И в этом ему не было равных: блестящий импровизатор, он мог выдумать что угодно — от падежей несуществующего языка до шкалы для еще не открытого состояния материи. Он знал толк в живописи. Но даже если б он никогда о ней не слышал, мне больше не к кому было обратиться.

С этого момента и начинается вторая жизнь Николы. Вернее, не Николы, а «Фантастической гравюры», как теперь с нашей легкой (по невежеству!) руки называют ее все специалисты. Или, еще вернее, и Николы, и «Фантастической гравюры». Поскольку неожиданно для нас обоих мы стали первооткрывателями еще одной, самой уникальной в мире картины.

Сережка Троянец выставил против иконы всю свою дьявольскую изобретательность, а также многочисленных друзей: художников, химиков и даже

одного криминалиста. Икону фотографировали через все мыслимые фильтры. Просвечивали рентгеновскими и ультрафиолетовыми лучами. Рассматривали в микроскоп каждый мазок кисти. Мне кажется, хотя это до сих пор от меня и скрывают, ее варили в кастрюле и выпаривали на медленном огне. В общем, подробностей я не знаю, но в результате всех ухищрений удалось снять верхнюю пленку краски — обыкновенную яичную темперу, действительно наложенную Алексой Петровым в 1293 году на еще более древнюю роспись. То есть именно росписью-то и нельзя было назвать обнаруженную нами обработку дерева, меняющую саму структуру поверхности на глубину приблизительно два миллиметра. Это были как бы многократно наложенные и проявленные изображения — не красками, а каким-то неизвестным земной науке стереофотоспособом. Я не оговорился, поставив рядом эти два слова: земной науке. При всей необычности лика «святого», при всей его исключительной одушевленности и, между прочим, при всей нашей подготовленности к чуду, открытие оказалось ошеломляющим: на нас, навсегда вживленное в дерево, глядело неземное трехглазое лицо.

Древний новгородский художник искусно воспользовался кистью, чтобы, замазывая чужое и непривычное, придать ему человеческие черты. Нигде не отступив от общего контура, сохранив рисунок, ткань картины, он вместе с тем придал каждой линии собственную интерпретацию. Превратил в реденький хохолок пляшущее над теменем голубоватое пламя. Третий глаз во лбу, чтоб не смущать мирян, замаскировал в странный, но не противостественный узел морщин. Плотные выступающие образования по бокам головы сделал слегка оттопыренными, посаженными низко, почти у самого подбородка ушами. Два веерообразных пучка щелевидных отверстий стали диковатыми, чуточку асимметричными усиками. Безгубый, немного вытянутый вперед абсолютно круглый рот оказался завитком бороды, так что живописец с трудом втиснул под усы маленький новый ротик с крохотными, едва намеченными губами. Потом оживил привычными

красками непривычные для нашего глаза смутные цвета лица и одежды, убрал многочисленные черные пятна фона — и получилась незаурядная, однако вполне земная икона. Так сказать, обыкновенный чудотворец. . .

Но как, откуда попала «Фантастическая гравюра» к Алексе Петрову? Кто изображен на ней? В какие незапамятные времена позировал чужак известному анониму, искусство которого донесло до нас неподвластную времени информацию на простом куске дерева? Хотя нет. Так и такими средствами мог писать тот и только тот, кто изображен на этом портрете!

Не просто описать, по какой причине я пришел к этому неожиданному и чуточку нелепому выводу. Мы долго спорили, думали, снова спорили, пока не выработали единого толкования. И тут я вкратце коснусь философских основ зрения.

Для человека с одним глазом мир предстает плоским. Два глаза разворачивают картину по горизонтали, потому что рассматривают объект с двух разных точек зрения. Каждый глаз видит свое, несколько отличное изображение и передает его в мозг, который трансформирует плоские картинки в стереоскопический кадр. При этом, в силу физиологических, если так можно выразиться, допусков на состав, число и восприимчивость палочек и колбочек глаза, в силу микроскопических различий в строении нейронов, проводящих импульс, цветовое видение для каждого глаза тоже различно. Происходит суммирование цветности, и спектр изображения, рассматриваемого двумя глазами, становится значительно богаче, чем для любого из них. Поэтому никогда одно самое зоркое око не заменит двух.

Но мы, люди, так привыкли к своему богатству, так горды, так вжились в свои роли «царей природы», что не замечаем, как мы на самом деле зрительно бедны. Окружающее нас пространство трехмерно. Мало одной только развертки по горизонтали. Нужна третья точка для рассмотрения предметов в их дальномерном развитии. Нужен, короче говоря, третий глаз, расположенный выше первых двух. И если двумя глазами человек видит как бы две

границ куба, то третьим глазом он мог бы увидеть третью, верхнюю, грань, приобретая что-то вроде панорамного зрения. Частично, разумеется, мы научились компенсировать свой физический недостаток — едва заметным вскидыванием вверх-вниз головы, движением зрачков в вертикальной плоскости. Но лишь одновременное сравнение, совмещение трех изображений позволило бы нам оценить мир в полном объеме. Три — число необходимое и достаточное. Никакое последующее увеличение тут ничего не изменит — в трехмерном пространстве играют роль лишь две базы: горизонтальная и вертикальная. Зато какой поток информации об окружающем мире хлынул бы в наш мозг! И какая беспредельная палитра красок распахнулась бы для наших органов чувств!

Да, мы привыкли к своему зрению. Оно дает нам возможность судить о прекрасном, наслаждаться книгами, считывать показания приборов, любить. Оно позволяет увидеть багровую настороженность заката и грациозные шалости котенка, падучую звезду и чуткую гладь лесного озера. Какой же художник сознается в том, что он мог бы писать лучше, если бы был совершеннее сам человек? Одни только инженеры-психологи всё переделывают и переделывают пульты управления, подстраиваясь под ограниченные возможности человеческих глаз. Да тяжело вздохнет и отложит в сторону свои чертежи очередной изобретатель новых неосуществимых эффектов циркорамного кино.

Мы не жалуемся на свое зрение. Потому что не знаем ничего иного. И еще потому, что «царь природы» не может иметь ущерба.

Но вот я гляжу на трехглазое неземное лицо. Оно написано красками, половину которых мне никогда в жизни не ощутить. Для меня, как и для любого человека, рожденного планетой Земля, навсегда останутся в этих местах картины черные провалы, пустые непрорисованные куски, неожиданные переходы от ощущения цвета — к мраку. Потому что спектр видения неизвестных разумных существ простирается намного дальше в инфракрасную и ультрафиолетовую его области. И художник неведо-

мой планеты умело пользовался всей своей богатой палитрой. Броско очерченный образ представителя чужой цивилизации шагнул к нам через пространство и время, шагнул — и в течение многих веков остался непонятым чудотворцем. А те, кто истово молился ему несколько раз в день, не подозревали о его внешности. Как не подозревал до сих пор и я.

И все же — вот он, вот он, сигнал далекого Разума, который мы искали под Баальбекской верандой и на фресках Тассили, в Култубской колонне в Дели и в японских фигурках догу. Сигнал дошел до нас распахнуто и нетленно. И так просто, как в руки случайного поклонника попадает фотография с автографом любимого артиста.

Это и есть автограф для всех нас, для всего человечества. Автопортрет. . .

Лишенный всяческой растительности череп я бы все же не рискнул назвать голым — он постепенно, без четкой границы переходил в окружающий фон. Не зря Алекса Петров набросал по краям несуществующий у оригинала реденький пушок — ему нечем было выделить лицо из пространства. Над теменем плясало несколько пучков голубоватого пламени. Я не знаю, в чем тут смысл восприятия, но они именно плясали, постоянно и незаметно для глаза меняя цвет и контур около какого-то общего положения. Все три глаза были накрыты резко изломанными бровями. Веерообразные дыхательные отверстия и круглый рот не вызывали отвращения и тем более — сомнения в закономерности пребывания их на этом лице. И насколько бережно и даже однообразно расходовались цвета при переходе от лица к фону, настолько безудержно, ярко, без полутонов выписаны глаза, щеки, одежда. Некоторые провалы в палитре — конечные, емкие, густые — были на наш земной взгляд совершенно необоснованны. Такими пятнами, например, разделялись язычки голубоватого пламени, делая неправдоподобным мгновенный переход света в тьму. Другие накапливались так постепенно, что оставляли глухое беспокоящее чувство: казалось, напряги всю свою силу воли, и уловишь то, что скрыто за этой недосказанностью. Так у самой грани распада зритель-

ного ощущения написан почти невидимый ореол вокруг головы. Вероятно, такой ореол мы могли бы увидеть у каждого землянина, если бы научились воспринимать биотоки мозга.

Художник чужой планеты писал не для землян, вкладывая в портрет тонко схваченную объемность и не ограничивая себя в выборе цвета. Это понял древний живописец Земли и смело покрыл чистыми земными красками неземное лицо. Быть может, тем самым он спас его от уничтожения воинствующими монахами.

Но главное — заботясь о ширме, о маске для пришельца, он создал новое оригинальное произведение. Спустя семь веков легкие краски тончайшей пленкой сняты с оригинала и наклеены на новую доску (помните «Курочку Рябу»? «Я снесу вам яичко не золотое, а простое. . .»). Так в наше время родилась икона, не освященная церковью, но еще более чудотворная, чем все святые мощи, вместе взятые. Она висит у меня над столом и ежедневно рассказывает свою историю. Так что пусть не удивляются верующие — и у атеистов могут висеть образа.

А настоящая «Фантастическая гравюра»? Она все еще исследуется учеными, и тот самый криминалист, по-моему, собирается выжать из нее диссертацию. Кстати, я слышал, после этой истории многие начали скупать древние иконы и вываривать их до проявления второго изображения. Дай им, святой Никола, стать свидетелями еще и не таких открытий!

Да, портрет писался не для земного зрителя. Мы смотрим на него глазами дальтоника, даже не подозревая о немыслимой полноте чьих-то цветоощущений. Но что же, в конце концов, цвет как не свойство окрашенной поверхности отражать световые лучи преимущественно одной длины волны? Пусть световые волны попадали в невидимые для нас области спектра — мы понимали гораздо больше, чем видели. И что-то здесь было от изощренного змеиного инстинкта. Мы ощущали энергию чужих красок по всей области спектра — от инфракрасного до ультрафиолетового цветов. И краски эти приносили нам неосознанную эмоциональную информацию. . .

Мы улавливали эту информацию на ощупь — вполне заметной живой теплотой. Но и расстояние не умело ее убивать — мы ощущали ее через всю комнату. Портрет излучал, мы впитывали это излучение даже с закрытыми глазами — всей кожей, нервами, волосами. Оно приходило к нам периодическим и безболезненным жжением языка, внезапной искоркой по руке, неожиданным и приятным нытьем зубов. А может, еще более тонкими способами восприятия?

Несомненно одно: наше зрение прогрессирует. Обезьяны видят два-три цвета. Говорят, неандерталец различал около четырех оттенков. Мы — семь и множество нюансов. Не исключено, что наши потомки увидят мир в двенадцати цветах. И, естественно, оценят всю прелесть «Фантастической гравюры».

Но одна мысль не дает мне покоя: вернется ли когда-нибудь к человеку утерянный на ступенях эволюции третий глаз?

СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Письмо из Крутечек и на этот раз было деловитым, подробным и монотонным. Позади прочих деревенских новостей, следом за поименными приветами от соседей, тетка Изварина писала: «А еще сообщая тебе, доченька, пропала Динка. Последние дни воем выла, я уж решила — сбесилась. И то сказать, двадцать три годочка почти бы стукнуло, собачий век. Погладишь ее — прикусит зубами руку — и тянет за собой. Я, конечное дело, стара теперь с псами хороводиться, не пошла. Может, зря, как думаешь? Ты бы, знаю, пошла. . Третий день как пропала. Отмаялась. . .»

Леля опустила письмо на колени.

Динка была кудлатой беспородной прелестью с куцым от природы хвостом и человеческим взглядом грустных карих глаз. Такие в этом взгляде были тоска и собачья неустроенность, что Леля без колебаний вывалила ей на лопушок из собственной миски половину картошки с тушенкой. Псина нежадно поела, подошла и уткнулась носом в голые Лелины колени.

Хозяйкой Динки была тетка Изварина, крутая краснощекая бабенка с молодыми крепкими ногами и длинной черной косой. На шестом десятке на нее заглядывались приезжие парни, и дурная слава приклеивала к ней внимание не хуже невянущей красоты. Но тетке Извариной наплевать было на любую славу — хорошенькие веселые дочки ее, нагулянные от неизвестных отцов, ни в чем не уступали соседским ребятишкам. Разве только уединенные и гордые чересчур, ни с кем не водились!

Крутечки — деревенька небольшая, вся на виду. Не успели студенты набить соломой матрацы, как у них появились гости. По случаю первого дня приезда и дождя танцы устроили в помещении. В углу, в самом освещенном месте, заносился патефон. Смазки или чего иного не хватало ему в этом климате, но пластинку приходилось подгонять пальцем. Звук получался неравномерный — заунывный

или не по мотиву бойкий — в зависимости от темперамента крутили. . .

Знакомство с Динкой состоялось на следующий день, к вечеру, когда уже вернулись с поля. Доев, Леля посидела минут пять, отогревая коленями липкий собачий нос. Потом поднялась, собрала посуду, отнесла к ручью. Пучком травы оттерла с песочком миски-ложки, принялась мыть их в стылой воде. Динка, помахивая куцым хвостом, терпеливо ждала на берегу. Леля подумала-подумала — и позвала ее с собой к хозяевам.

На скамейке у калитки сидели девчонки Изварины. Та, что постарше, начесывала сестре «бабетту». Леля замедлила шаг — слава дома вместе с глиной прилипала к резиновым сапогам, делала ноги непослушными.

— Эй! — окликнула Леля негромко. — Я собаку привела.

— Динку, что ли? — Младшая отвела с глаз реденькую прядь. — Подумаешь, и сама бы не заблудилась. Она когда и по три дня кряду не возвращается.

Обе настороженно и с любопытством глядели на городскую, шагнувшую к ним из «приличного» мира. Одна защитительно выставила перед собой остроконечную расческу. Другая замерла с наполовину взбитыми волосами. Пауза текла и текла, и никто не решался ее нарушить. Тут Динка даже не заскулила, а как-то горестно взвизгнула, и девчонки опомнились, заговорили разом, преувеличенно задвигались.

— Давай кончай быстрее, размечталась!

— Шпилек мало! — Старшая вздохнула.

— А вот возьмите мои! — Леля, нашаривая левой рукой «невидимки», торопливо ступила ближе. Узел волос на затылке распустился, тяжелое золото заструилось по плечам.

— У вас красивые волосы. Мягкие, должно быть! — взросло восхитилась младшая. И без всякого перехода добавила: — Меня зовут Ада. А ее Ксюта.

— Не дергайся, егоза! — прикрикнула старшая. — Точно, Ксюта. Будем знакомы. . .

Между ними троими сразу установилась легкая доверчивая атмосфера. Леля выхватила у Ксюты расческу, присела на краешек скамейки и двумя руками притянула к себе голову Ады.

В доме у Извариных было чисто и не то что уютно, а как-то всласть дышалось. Посредине пыжилась печка, деля избу на закутки — кухоньку и две комнатухи. Парадная стенка над кроватью была залеплена фотографиями. На самой большой, в резной рамке, застигнуто пялился в объектив паренек лет восемнадцати, простоволосый и хмурый, как всегда бывает на портретах, увеличенных с маленькой карточки. Там же, вставленные за рамку, а также в простенке от окна до окна красовались разнокалиберные семейные фото — случайные мгновения счастливой довоенной жизни.

Тетка Изварина с мужем.

Она же и сын.

Муж с сыном на коленях. Она стоит рядом, положив деревянно согнутую руку на мужнино плечо.

Коллективные школьные снимки, белесые от плохой выдержки.

Муж возле трактора. «Сгорел в танке в первый месяц войны», — осторожно поясняет Ксюта, никак не называя мужчину, который должен был бы стать и не успел стать ее отцом.

Тетка Изварина — в берете и с ямочками на щеках.

И вдруг — тот же самый парнишка с портрета: в пилотке, гимнастерке, с напряженным и рассредоточенным взглядом. А поперек фото, фиолетовыми, трудно выведенными буквами, точно писал внезапно потерявший зрение: «Я убит шестого марта 1943 года».

Хлопнула дверь. Леля медленно обернулась.

Оставив за порогом привычную бойкость и ставшую привычной независимость, тетка Изварина внесла в избу усталое тело, притаившуюся в глазах тоску, бессильно перекинутую на грудь косу. При виде незнакомой в доме она было спохватилась, живенько подтянулась, заранее ошетибилась, распустила ленточку, стягивающую кончик косы, и затеребила волосы. И все это вышло ладно, гладко,

не без кокетства и вкуса. Но все же маска беззаботности и естественного озорства к хозяйке не вернулась. Родные стены да простодушный Лелькин вид не располагали к защитительному притворству — женщина приветливо кивнула и вопросительно посмотрела на дочек.

— Это Леля! — сказали девочки хором.

Ксюта стала стаскивать с матери сапоги. Ада принесла тапки.

— Я Динку привела. Прибилась ко мне сегодня, — поспешила на всякий случай оправдаться Леля. И сразу поняла, что ей здесь рады без всяких пояснений, можно не выдумывать себе сложностей и вообще не мудрить.

— Она ко всем приезжим жалиться бегаёт! С сорок шестого года места себе не находит, как Колюшка потерялся.

Тетка Изварина сказала это просто, с устоявшейся грустью и располагающей на разговор откровенностью. Что-то подсказало ей — не стоит стесняться студентки, заявившейся в гости к дочерям. И это вот ласковое, относящееся обычно к слабому «потерялся» вместо «пропал» или «исчез» вышло тоже убедительно и немножко провокационно, как бы подталкивая на дальнейшие расспросы. Леля без труда догадалась, как же хочется порассказать о себе этой гордой женщине, избравшей тяжкую долю ни с кем не делить горя. И так же точно догадалась, что Колюшка и есть тот изображенный на фотографии тетки Извариной сын.

Но тогда это входило в противоречие с чернильной строчкой поперек фото: «Я убит. . .»

Тетка Изварина повесила на самодельные плечики жакетку, села у стола. Ксюта, чмокнув мать в щеку, принялась накрывать на стол.

— Значит, говоришь, «Леля»? Ну-ну. Спасибо, что зашла, не побрезговала. . .

Леля чуть покраснела, но все же храбро выдержала теткин взгляд. Подошла Динка, опрокинулась у Лелиных ног, голову положила ей на ступню.

— За свою приняла, — заметила тетка Изварина. — А так, кроме Колюшки, никого не признавала. Два года ему за поводыря была.

И вдруг, круто меняя тему, повернулась всем крепким ладным корпусом к Аде:

— Географию не выдали? Или так и будешь ходить без учебника?

— Да ну, мамочка, четверть длинная. Выдадут. . .

Поговорили о школе. О книжках. О весовщице Вагилевой, которая не вызывает мастера регулировать весы и обманывает шоферов. О картошке, которую комбайн приминает в землю, и ее трудно выворачивать ногтями, а некоторые бессовестные даже сами зароят и сверху припорошат, чтоб лишний раз не нагинаться. Окончив ужин, тетка Изварина спросила:

— Ты, небось, давно ломаешь голову, как это может потеряться человек, которого убили за три года до того, а?

Леля кивнула.

— Его на фронте в голову ранило. Несильно, а токо вот видеть почти перестал, токо то, что по центру зора. И память у него раскрошилась. Три буквы зараз мог распознать, а от этого кусочка в обе стороны — темень. Да и чего мог рассмотреть, сей же миг забывалось, лишь глаза отведи. Читать, бедолага, разучился. А писать не глядя старался, как сама рука помнит. . . — Тетка Изварина покосилась на фотографию, длинно вздохнула. — И еще, веришь ли, лево-право начал путать, дом свой от других различить не умел. Доктор говорил — в памяти его признаки вещей не держались. Отойдет куда подальше — я уж бегу разыскивать, не то убрет куда ни попадя. . . После потом щенка ему раздобыла. . .

Динка, не поднимая головы, pokrutila культишкой хвоста.

Ада быстро обогнула стол, уселась на пол, прижалась к материному боку. Тетка Изварина обняла ее, запустила пальцы в мягкие редкие волосы.

— Опять «бабетту» начесали? Талдычу ж вам, из моды она теперь вышла. Да и для головы вредно. А вы чего ж? Хотя ты, Леля, подтверди им.

Ворчание тетки Извариной было славным. Уютным. Ада лишь слегка пошевелила плечиком и глубже зарылась в мамин бок. Ксюта, не закончив убирать посуду, потребовала:

— Дальше, мамочка, дальше!

Тетка Изварина будто не слышала. Губы ее как-то сразу затвердели и выцвели, уголки рта опустились, глаза отсутствующе уставились за окно.

— А седьмого августа после полудня потерялся. — Голос хозяйки на этой фразе дважды переломился. — Я уж поуспокоилась, думала, отойдет помаленьку. Пускай бы калекой жил, чем совсем с войны не вернуться. Водила гулять. Читала. Он понимал, если медленно, чуть не по складам. . . А все же мучился: до войны учительствовать мечтал. Вот бы их мне учил. . . Хотя, откуда ж бы им при нем взяться!

Она оттолкнула Аду, но опомнилась, крепче обхватила за плечи. С другого бока тотчас приткнулась Ксюта. Мать обняла и ее.

— К зеркалу подойдет: «Нет меня, мама, там. Тьма. Глаз чужой посреди мрака торчит». Потом обернется ко мне — как только угадывал? — рукой воздух ощупает вокруг себя: «И здесь тоже нет. Нет меня больше. Личность я, мама, утерял. . . Жить не хочется. . .»

За окном стемнело. Но света не зажгли. Голос тетки Извариной стал ломким и сухим и больше не обрывался.

— Прихожу, значит, домой седьмого августа — нет его. Я сначала не испугалась. Решила, опять с Динкой за деревню подался. На ручей, тоску отливать. Они часто к ручью уходили. Я ж и всего-то в правление на минутку — насчет машины договориться: хотела его в город, к профессору. . . Подошла к подоконнику полить цветок — а там эта фотка. И чернилом поперек: «Я убит шестого марта 1943 года». У меня так все внутри и трепыхнулось. Далеко ж, думаю, за час не мог уйти. Сама все вокруг избегала. И другие тоже колхозом. И из милиции двое. С собакой. Все допытывались, не затаил ли он от войны оружия. Да если б и затаил, тут же б из головы выронил. . . Бегали мы все, бегали, так представляешь — ну нигде ни следочка! Ни слезы. Ни кровинки. Собака их здоровущая хвост под брюхо, наземь повалилась и уши лапами заслонила,

даром что овчарка! А Динка лишь через три дня объявилась. Облезлая. Бока проваленные. Под крыльцо заползла и еще неделю скулила точно по покойнику. Да уж и совсем зазря. Какой там покойник, когда и так два раза умер! Чую, сам он на себя руки наложил. Незнамо где теперь и косточки незарытые валяются. Как раз с седьмого августа.

Седьмого августа 1946 года Лелюшка родилась на свет.

— Оставайся ночевать, — предложила тетка Изварина. — А то, хочешь, и вовсе переселяйся.

— Что вы, спасибо, перед ребятами неудобно! — отказалась Леля.

На самом деле, испугалась стен, которые не уберегли человека, не уговорили остаться и жить. Лелюшка не доверяла им, видевшим, как металась между ними четыремья обезумевшая от горя женщина, едва примирившаяся со смертью мужа. И как, наверное, тихо кусала ночью губы в печали о сыне-калеке. И как обманывала здесь себя с чужими мужчинами — лишь бы не быть одной! Может, она уже не имела ни надежды, ни права на новую семью. Но очень хотела ее иметь...

— Я завтра вечером забегу, можно? — спросила Леля. — Спокойной ночи!

— Прощай пока... Почаще заходи... Ладно?

Леля пришла завтра. И послезавтра. И еще четыре вечера подряд. А на седьмой не пришла.

...Динка прибежала прямо в поле во время обеда. Есть не стала. И все нетерпеливо тыкалась в колени, тянула Лелю за руку, деликатно повизгивала.

— Доедай живее да уматывай, мы тебя отпускаем! — распорядился Женька Жук. — Твоя четвероногая Санчо Панса у любого скулежом аппетит отобьет.

— У тебя отобьешь! — Леля забрала в горсть сухой собачий нос, подула. — Пошли, что ли? Нас с тобой милостиво отпускают.

— Не понимаю, чего ты среди женского рода выискала? — Верзила Силкин подмигнул ребятам и гулко захохотал. — Будь на твоём месте я, никто бы

не ломал голову, чем можно с такой аппетитной мамашей заниматься. . .

Леля подошла и трахнула его алюминиевой миской по спине. Он недоуменно пошевелил лопатками:

— Уж и пошутить нельзя. Недотрога!

— Поищи себе другой повод для шуток. А с такими мыслями даже во сне сторонись этого дома!

Динка вздыбила шерсть на загривке и зарычала.

— Ну-ну, умничка моя, не надо! — успокоила Леля. — Дяденька осознал. . .

И они пошли куда глаза глядят. . .

Оказалось, глаза у них у обеих глядят на ручей. Спустились к берегу. Побрели вниз по течению, не торопясь и не оглядываясь. Динка держалась у ноги. Однако стоило Леле приостановиться, хватала за брюки и тянула дальше вниз. Где-то там за несколько километров отсюда ручей сливается с рекой. А река, как известно, бежит в Волгу. Которая, в свою очередь, впадает в Каспийское море. По морю гуляют волны. И всякая мысль, обегая даже безмозглую голову, рождает волны. Мысленные волны. Биополе. Которое объединяет волны всех людей и тоже образует море, целый мысленный океан. На Земле есть скрытые от глаз лагуны, где океан этот пенится невиданными взлетами энергии.

Пиками энергии. Со своими приливами и отливами.

Леля удивилась неожиданным, неведомым ранее рассуждениям. Ну, поле. Ну, море. Ну, океан. Если мысленный, то почти и не существующий. А о несуществующем зачем думать? Зачем ненужными мыслями маяться?

Тут Леля споткнулась, опомнилась и лишь тогда осмотрелась внимательнее. Ручей здесь ударялся в обрывистый берег, взъяривался, слегка отскакивал назад и под прямым углом катился в сторону. В месте изгиба крутило пенный водоворот. И именно здесь кому-то понадобилось брать песок. Вода не доставала до выемки, а точнее, до ниши примерно человеческого роста и метровой глубины, куда солнечный луч не попадал из-за берегового уступа. Там отчетливо просматривались слои песка,

крапленные охряными прожилками глин и срезанные вкось штыковой лопатой. Ничего, в общем, интересного. И Леля не остановила бы на нише своего внимания, если бы не Динка.

Динка сунула туда нос, поскребла когтями землю и заскулила. К кончику ее куцего хвоста подползла острая тень двузубого валуна.

Лелька за ошейник потянула псину внутрь. Но Динка прижалась брюхом к земле, мелко-мелко задрожала, попятилась, и девушка не стала настаивать. Пригнувшись, ступила в нишу. Конечно же, заслонила собой свет. Но не настолько, чтобы не видеть в упор той же песчаной, со следами штыковой лопаты стенки. Подняла руку потрогать охряной узор. И, к своему удивлению, не встретила преграды: рука по локоть исчезла в породе. От любопытства, а больше все-таки от неожиданности сделала еще шаг — и провалилась в невыразимо длительное падение лицом вниз в слоистую темноту. . .

Сперва ощутила сложный смрадный запах вымоченной в керосине хамсы, ила, перестоявшейся фиалки и широко расплывшуюся во рту боль прикушенного или обожженного языка. Внутрь тела, начиная от кончиков пальцев, поползло, отступая, тепло. Озябли колени и плечи, посинели ногти, в мурашках растаял низ живота. Горячий комок задержался у сердца, на мгновение затопил горло и маленьким радужным пятнышком аккумулировался в центре затылка. Тело потеряло вес. Руки и ноги поплыли в неуправляемом и бесплотном парении. Пенистые пузырьчатые огоньки — как шампанское на свету! — впитались в кожу. Взлетел и опал сильный звук, распухая из высокого колющего тона в ужасающе низкий ватный хрип. И ливень, огнепад, бездна всепоглощающего света растворили мир и мозг.

«Сиреневый туман над нами проплывает, — родился откуда-то мысленный ритм. — Все в мире поглотил сиреневый туман. . .»

Внутри и снаружи Лельки качалась сухая размягчающая дымка. Висел ровный лазорево-фиолетовый туман. Воздух, осязаемый без удушья, не обжигал ни губ, ни глаз. Густая, как в полуденную жару, истома скопилась на месте несуществующего

Лелькиного тела, окончательно похитив умение что-то делать или хотя бы шевелиться.

— Свежа-а-тинку занесло-о! — прозвучал заунывный, как в анекдоте о дистрофиках, синюшный голос.

Странно он прозвучал. Будто провибрировал в каждой клеточке утраченного тела. И был, похоже, ее и не ее. Лелька напряглась. И бесконечно долго отрывала голову от земли. Потом еще дольше поднимала веки.

Вокруг сидело множество людей. Они мерно и медленно раскачивались и то ли пели, то ли жужжали, не разжимая губ. Слова были неразборчивы. Но гораздо труднее воспринимался этот выворачивающий зевотой скулы ритм.

— Как ты попала сюда, дитя? — засасывающе долго пропел старик, глядя в сторону и вверх на остановившееся в зените солнце.

Девушка тоже посмотрела туда. И ей не пришлось щуриться: солнце не пекло и не ослепляло. И все же размягчающий свет проникал всюду. Ничто здесь не отбрасывало тени.

— Как попала? — переспросила Лелька. — Просто гуляла. — И добавила для убедительности: — С Динкой.

Старик беспокойно поворочал шеей. И продолжил свое нудное пение:

— У тебя несчастье? Или бедствия снизошли на Землю? Язва? Мор? Война?

— Ну, почему же? — Девушка пожала плечами. — Обычные дела.

— Не трудись говорить. Думай! — посоветовала молодая женщина ослепительной мертвенной красоты.

Неразборчивый фон отодвинулся, распался на куски. И Лелька вдруг догадалась, что слышит никакое вовсе не пение, тем более не жужжание, а самые натуральные человеческие мысли. Мозг был набит чужими мыслями, они гудели и жалились помалу, как осы в чемодане.

— Думай, думай, цыпочка! Напрягайся, я тебя почти не слышу! — синюшно проверещала старушонка, подсовываясь ближе.

Лелька наморщила лоб и с таким зверским усилием принялась сосредоточивать разбегающийся разум, что у нее заболело темя и вместе с челкой ходуном заходили уши. Зато по рядам вокруг прокатилось движение, там довольно оскателились и, потирая руки, потянулись к ней как к огоньку.

— Затлело-затеплилось!

— Греет! Греет, братцы!

— У, моя прелесть, сияет, словно тебе свечечка!

— Блесточками играет! — слышались выкрики в том же явственном и диком темпе сна.

Но Лелька уже немного свыклась. И по мере того, как течение мыслей делалось насыщенным, редким, глубоким, по мере вживания в ритм, разные голоса начали выделяться из тающего времени. Она могла уже указать, кому какой голос принадлежит и какой эмоцией окрашен. Нельзя было ошибиться, даже глядя совсем в другую сторону или на сиреневый сгусток в зените, изображающий солнце.

— Теплышко-то какое, господи! — умиленно запричитала синюшная бабка. — Ну, каждую же извинку будто парком обдало. . .

— Сильна девка! — согласился сочный баритон. — До мозжечка проняло. . .

— А мне все одно знобко, — донесся издали завистливый надтреснутый шепоток. — Вконец иссохлась мудрилка. К вечному упокою, видать. . .

— Да тебе уж и без толку, Гурикан! Почитай один светлячок на лысине остался! — внезапно окрысилась красавица. — Ты и так ни одного новичка не пропустил. Лучше, голубок, рассасывайся помалу.

Леся поежилась от этого бесцеремонного требования, да еще переданного непосредственно в мозг. Она уловила, как корежит там вдали крохотный островок сознания, перемежающийся беспамятством. Ясно представимые волны мысленного моря клубились по соседству, норовя окончательно загасить и растворить островок до кванта.

— Расскажи, дитя, о себе. Зачем явилась? — вновь пропел старик, оборачивая наконец свое лицо, а вернее бы сказать, не лицо, а пергаментного цвета череп, слегка обтянутый истончившейся кожей,

и с глубокими глазными провалами, со дна которых мерцали белые бельма.

— А нам какое дело? Главное — что с собой принесла! — игриво возразила бабка. — Ух, какая башковитенькая, цып-цып-цып!

И она, причмокнув, так сильно втянула в себя живой человеческий дух, что неподвластное Лельке Лелькино тело перекособочилось, засвербило под лопаткой, сама собой задергалась левая ступня.

— Э-э-э, полегче, Фунтюшка! — завопила красавица. — Не все тебе одной, оставь другим. До чего же к чужим умственным силам жадная — а самой тоже, небось, рассасываться пора!

— Ах ты, губошлепка зачепистая! Да я тут тебя еще сто раз перемыслю! А ну, подожми извилины! Дай подышать!

Что-то закопошилось у Лельки в голове, отвлекло внимание от ссоры, чудовищной медлительностью растянутой на века. Она последовала внутреннему велению и увидела трех мужчин. Исхудавшие до прозрачности тела с ненатурально вывернутыми измельчавшими костями не давали им ползти. Но они выстелились по направлению к ней по земле. И жадными взорами разрывали ее мозг на части.

Вот они извлекли из младенческих воспоминаний час жуткого Лелькиного одиночества, когда мама убежала в магазин, не догадываясь, что девочка уже понемногу себя осознает.

Вот Штымп на выпускном балу пригласил ее танцевать. И она, забыв про сумочку, положила ему руку на плечо. Сумочка колотила Штымпа под ребро. И он хихикал. Потому что боялся щекотки.

У их воспитательницы смех был рассыпчатый, как Лелькино платье в горошек.

Гороховое поле было засеяно на зеленый корм, напрасно студенты искали стручки. .

Зеленую юбку из тафты не успела сдать в химчистку. Тафта такая бархатистая, как Динкин нос.

Интересно, к кому с жалобами побежит теперь Динка?

Ада с Ксютой подумают, Леле надоело дружить. . .

Динке больно!

Тетка Изварина. . .

Мама. . .

Динка. . .

— Стойте! Сто-ой-те-е! — по крупинкам собрал Лельку из рассыпавшихся мыслей знакомый голос. Хотя кто знает, доводилось ли когда-нибудь раньше его слышать. — Не смейте ее трогать!

Застонав, Лелька оглянулась — и охнула. К ней большими шагами, взвешенными, как все в этом вне-временном мире, мчался Колюшка Изварин. В точности такой, как на фотографиях — застигнуто удивленный, простоволосый, хмурый, ничуть не постаревший за семнадцать лет. Уже то было хорошо, что он мчался, а не полз и не плыл. И это несло иллюзию возвращающейся жизни.

— Откуда мать знаешь? И Динку? Думай. Громче думай, прошу тебя!

Он потряс Лельку за плечо так резко, что у нее голова запрыгала из стороны в сторону.

Но она радовалась любому движению.

Коля вглядывался в нее. И пил, пил, пил из ее памяти. Но Лелька не только ничего не теряла, а, наоборот, улавливала взамен пасмурный августовский день семнадцать лет назад. Тоску, выгнавшую человека из дома. Жгучую желтую полосу, расчленившую мир. Мрак, изглодавший память. Узкий сектор зрения, в котором мельтешил Динкин куцый хвост. И сиреневую стрелку, зовущую в несуществующий мир, где нет мрака и желтой полосы, где можно снова думать. . . Колины ощущения полностью перетекали в Лельку. И теперь Лелькины пальцы бессознательно повторяли движения, которые перечеркнули когда-то парнишку в пилотке чернильной надписью: «Я убит шестого марта 1943 года. . .»

Лелька натужно медленно поднялась и стояла вровень с ним, глаза в глаза. Он по-прежнему не снимал руки с ее плеча. И тайны этого мира вливались в нее — без усилий и без вопросов.

Она уже откуда-то знала, что мысленное поле всех людей образует странные завихрения — те самые лагуны, которые привиделись ей по дороге. . . А завихрения рождают миры, не существующие в нашем времени и нашем измерении, но вполне

реальные для тех, кто в них проник. И потому здесь мысль разомкнута, размыта — и поделена на всех.

Немногие стремятся в безвременье.

Только психически отверженные человечеством. Или психически ущербные, каким так несчастливо оказался он, Коля Извари.

Из тех, кто стремится, не доходит и третья часть.

Потому что проход в поле открывается лишь на короткий миг.

Миг по земному времени.

И вечность для тех, кто хочет вечности.

Так здесь оказалась женщина, до того любившая собственную красоту, что, увидав на лице первую морщину, впала в протрацию и сомнамбулой прошагала сюда сотни километров.

«Зато теперь не состарюсь. — Красавица кокетливо улыбнулась. И остановленная красота ее выглядела безжизненнее мраморной. — Пусть звездами сыплется кровь человечья. Нам это ничем не грозит».

Так сюда попал честный священник, у которого наука отобрала веру в бога и ничем не заменила его в его сердце.

«Если не считать самой науки, до которой, отроковица, на Земле еще не доросли!» — хохотнул сочный баритон.

И старуха-ясновидица из секты хлыстов притащилась сюда, усмотрев спасение в этом сером полусолнечном мире.

«Тебя не спросилась!» — прошамкала бабка-синюшница.

И три брата-кровопийцы, ужасно разочарованных тем, что и здесь энергия их личных излучений растворилась в едином поле. . .

И еще разные другие, кто свел когда-то счеты с жизнью и увяз на века в сиреновом тумане.

В том числе — и он, Николай Изварин, единственный доброволец на этом вечном пиру убогих. Неумирающая тяга большого мира держит его в ином биологическом ритме. Он оказался здесь чужим. Но зато может связать мысли воедино, может соображать.

Лелька положила ему ладонь на сгиб локтя:

— Пойдем домой, Колюшка! Тебе здесь нечего делать, тебе здесь не место. Там хорошо...

— Ты хочешь, чтоб я снова потерял себя?

— Мать переживает. И сестренки тоже... Говорят, у Куликовых теленок родился с одним крошечным рогом. А в колхоз новый трактор пришел. Таких при тебе не было. А у Маруси Зимаревой маленький сын. А самой уже тридцать девять...

Кто это — Маруся? А, Зимарева... Странно, что ее здесь помнят. Она на три года младше. Ей теперь тридцать девять... А ему все еще двадцать четыре...

Колины пальцы изо всех сил вцепились в Лелькино плечо. Но тут у Лельки не было тела.

— Странно, у тебя мамин голос. Расскажи о ней, — попросил Коля.

Лелька напряглась. И это получилось привычно, без труда. Просмотрела вечер за вечером в хате Извариных. Наткнулась на пустоты памяти. Свела брови:

— Ничего не понимаю: это ж только вчера и позавчера было. Не могла я забыть!

— Постой, Леля. Это мы тут перестарались. Сейчас вернем. А ну-ка, дистрофики, поднатужьтесь!

Алчный вой оторвал Лельку от Колюшкиных глаз. Увечные призраки оплакивали ускользящую добычу.

— Девушка попала случайно, — объяснял Коля. — Она не в резонансе. У нее нет иммунитета.

— Раньше надо было думать. Отсюда не возвращаются!

— Поле иссякает. Который год на урезанном пайке!

— Такую цыпу упустить! Совсем, что ли, рассудок расщепился?

— Да к нам после твоего прихода никто не заглядывает... Уж не ты ли отвращаешь?

— Слияйте, инвалиды умственного труда! Я сказал — вы меня знаете! А ну, тряхнем извилинами!

И в Лелькину голову задом наперед полезли мысли о Динке.

Тетка Изварина.

Мама.

Ада с «бабеттой».

Зеленая юбка из тафты.

Штымп, хихикающий от щекотки.

Леля посмотрела на Колюшку и едва узнала. Завязанной в узел волей он собирал растекающуюся Лелькину личность и по квантушке вгонял в нее отнятое, тратясь всем своим гримасничающим, ссыхающим и в считанные мгновения выцветающим лицом.

— Коля! Колюшка! Что с тобой? — испугалась Леля.

— Это как наркотик, Лелька. Беги отсюда, живей!

— Брось, бежим вместе. Домой, понимаешь? Домой, мать ревет. . . И Динка. . .

Она наклонилась, снизу вверх заглянула в его глаза.

— Молчи, Лелька, не бередь душу! Здесь я все помню. А там снова мысли рассыплутся, стану идиотом. Я не могу идиотом. Беги!

Он попытался поглубже упрятать страх: то, что он собирался сделать, отнимало надежду когда-нибудь выбраться самому. Но в этом мире было невозможно спрятаться.

— Я не уйду без тебя! — быстро сказала Лелька.

— Молчи, дуреха! — Коля стиснул ей плечи. Вдруг сухо и коротко поцеловал в губы (сквозь нарастающий в мыслях белый шум Лелька ощутила, как в лихорадочном блеске расширились зрачки нестареющей красавицы), поднял на руки, ступил два шага словно по воздуху и куда-то мощно швырнул. . .

«Сиреневый туман над нами проплывает, — стучало в висках, — Над тамбуром горит полночная звезда. . .»

Свет, заполняющий мир, начал сжиматься. Низкий ватный хрип собрался в высокий колющий звук. Приплыли руки, ноги, соединились с обретающим вес телом. От затылка вниз во всех направлениях побежали струйки тепла. Смрадный запах вымоченной в керосине хамсы смешался с болью обожженного языка. Выветрился. Ощущения, разломанные до того на составные элементы, складывались, давали себя осознать, отодвигались на удобные для органов чувств расстояния.

Пока не образовали вновь картину песчаной стенки, иссеченной штыковой лопатой и пронизанной охряными прожилками глин.

Лелька подняла малопослушную руку, поскоблила стенку — песчаная струйка посыпалась вниз и сразу же набилась в туфлю, шелестя словами тысячи раз петой песни:

Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкою я прощаюсь навсегда. . .

Динка радостно взвизгнула. Леля обернулась. И заметила, что псина даже не переменяла позы. К кончику куцевого хвоста все еще подползала острая тень двузубого валуна. . .

Никто в Крутечках не узнал про тихую лагуну в море времени. Лишь тетка Изварина, выслушав, долго молчала, едва заметно улыбаясь сквозь слезы, а потом сказала:

— Спасибо за хорошую сказку. На душе полегчало. А для матери, имей в виду, он и так и так никогда не состареет. . .

Лелька кивнула. Сняла туфли. И вытряхнула на жестяной лист у печки желтый речной песок. Ей ни разу больше не удалось пробиться в сиреневый мир. . .

В комнате неутешно тикали часы. Лелька вновь поднесла письмо к глазам:

«Последние дни воем выла, я уж решила — сбесилась. И то сказать, двадцать три годочка почти бы стукнуло, собачий век. . .»

Бедная кудлатая псина. Решилась все-таки. Динка одна знала, когда в песчаной стенке открывается проход.

За которым думает о нашем мире парень, убитый в 1943 году!

ЭХО

Ты покинешь мир земной.
Спросят: что ты нам оставил?
Но спрошу я против правил:
Что возьмешь ты в мир иной?

(Антонио Мачада. Плач по
добродетелям дона Гидо)

Никто не удосужился позвонить на площадку!

Эльдар стянул с себя тяжелые собачьи унты, вылез из меховых штанов (согнутые, они остались стоять на полу) и поверх одеяла повалился на кровать. Только тогда заметил на тумбочке свернутый листок. Телеграмма. «Умер Юра Красильников. Похороны седьмого десяти утра. Таня».

По коридору, шумно хлопая дверьми, шли умываться ребята. Соседей по комнате не было. Андрей побежал в столовую занимать очередь. Сашка Шерман, не дождавшись машины, тащился в этот момент пешком. Эльдар содрогнулся: три километра расчищенной меж двух снежных брустверов полосы! Лично у него вес унтов отбивал всякую охоту к прогулкам.

Эльдар прочел телеграмму еще раз. И почему-то не удивился. Когда-нибудь весть о Юркиной смерти должна была его настигнуть. Должна была, хотя Юрка был совершенно здоров перед отъездом, да и Таня в последнем письме сообщала, что еще накануне заходил, до полуночи читал новые стихи. Правда, письмо сюда идет десять дней, за десять дней всякое может случиться. . . Кроме того, Эльдар всегда знал, что от этого не уйти. Знал. С постоянным страхом ждал. И не подозревал, что все произойдет так быстро и буднично. Вот расплата за нечаянную зависть, почти предательство, за то, что однажды всего на миг допустил неожиданную мыслишку: куда девать Юркины рукописи, когда Юрка умрет? Черт его знает, почему так подумалось. Но вот подумалось — и больше нет друга. То, что было другом, хоронят через два дня. Даже меньше — послезавтра. И надо как-то успеть в Ленинград. . .

Проблески непостижимой способности то ли предугадывать, то ли строить будущее Элька уловил еще в институте. Что-то среднее между ясновидением и магией случайных желаний, которые невесты почему обязаны исполниться. . . Он предугадывал счет в матчах, погоду на послезавтра, время сеансов в кинотеатрах. Вопросы экзаменаторов. Но способности своей никогда не использовал: не участвовал в лотереях, из чувства протеста нарочно запаздывал с ответом. Поэтому из средних студентов не выбивался. А дар существовал — независимо от того, веришь в него или не веришь. Существовал. И, к несчастью, обрушился на того, чья единственная вина состояла в прихоти родиться талантливым. . .

Эльдар захватил телеграмму и направился через дорогу — в двухкомнатный домик, где жил руководитель отряда. Опокин в майке и тренировках держал над сковородкой куриное яйцо и сосредоточенно целился в него ножом. От удара скорлупа треснула, но не разошлась. Опокин ткнул ножом еще раз, яйцо развалилось в руке, часть содержимого попала на сковороду.

— Не рановато ли заявился, Бармин?

Эльдар протянул телеграмму. Опокин с минуту недовольно изучал ее:

— Кто это, Красильников?

— Друг, Григорий Иванович.

Вышло не очень убедительно. И Эльдар добавил:

— Друг и соавтор.

Про соавтора он соврал. Конечно, Юрка любил бывать у них в доме. Бывая, не переставал подсмеиваться над Танькиной «великолепной семеркой» — стадом фарфоровых слонов на туалетном столике, именно им первым читал стихи. И все же ни о каком соавторстве речи быть не могло: за творческое чутье Эльдара Бармина Юрка бы и гроша ломаного не дал. Только раз Элька чуть не прославился богатыми материалами по Атлантиде: в свое время добился разрешения посещать библиотеку Музея Истории религии, которая даже читального зала не имела. С десяти утра до закрытия, вместе с пятью-шестью «посвященными» и остепененными, Элька сидел посреди книгохранилища и мельчайшим почерком

переносил в блокнот целые страницы о неожиданных культовых обрядах и связях, подтверждающих якобы легенды про затонувший материк. Тогда еще Эльке хватало решимости и нахальства: по какому-то поводу насчет толкования имени Осириса он помчался к самому Василию Васильевичу Струве. Правда, знаменитый востоковед слушать его не стал, с чувством пожал руку и переправил молодому референту-египтологу. Как бы то ни было, материал накопился уникальный. . .

Узнав про выписки, Юрка загорелся книгой об Атлантиде и выпросил на время драгоценный блокнот. Вскоре опубликовал статью «Катастрофа между Африкой и Америкой». Эльдар и тогда находился здесь, на полевой площадке, и о статье узнал из Таниного письма. Он засыпал жену вопросами: есть ли отклики на их материал, чья фамилия стоит впереди, не понадобится ли им с соавтором общий псевдоним? Ведь если просто по алфавиту — Бармин очутится раньше Красильникова, а это вряд ли Юрке понравится. Таня отмалчивалась. И правильно делала, потому что упоминания о Бармине не было ни в тексте, ни в сноске.

По возвращении Эльдар долго вертел в руках газету. Подпись «Ю. Красильников» не раздваивалась.

Юрке даже в голову не пришло оправдываться или сомневаться в своей правоте. Он встретил друга, как будто только и ждал его поделиться радостью:

— Читал? Нравится? Я тут ублажал физика с историком. Приглашали прочесть в Университете лекцию по моей статье.

— Где блокнот? — спросил Эльдар.

— Пока не отдам, может еще понадобится, — отмахнулся Юрка. — Я тоже имею право на материал.

— Ты его украл у меня, понимаешь? И хоть бы фамилию где-нибудь сбоку прилепил. . .

— Не ты ведь написал! — вскинулся Юрка.

— Гигантский труд — соединить чужие цитаты!

— Ты же не соединил! Я мог бы и сам все разыскать, — не сдавался Юрка.

— Мог. Но не разыскал. — Эльдар горько рассмеялся. — Гони блокнот!

— И не подумаю! — Юрка бросился к письменному столу.

Элька протянул руку и выхватил из-под пишущей машинки пухлый предмет спора. Юрка взвизгнул, вцепился в локоть. Но преимущество было не на стороне нападения. Эльдар припечатал поэта к дивану, хорошенько раскачал до стона стареньких диванных пружин — и процедил сквозь зубы:

— Чтoб больше ноги твоей не было в моем доме! Понял?

Однако на следующий день Юрка как ни в чем не бывало читал им новую поэму «Атлантида»:

Дикарь стоял — рыжеволосый, голый.

А позади молчал дремучий лес. . .

Со странностями был покойничек. Впрочем, о мертвых плохо не говорят. . .

— Соавтор, значит? — переспросил Опокин. Он успел приготовить яичницу и торопился до ужина выяснить отношения. — А Таня — его жена?

— Моя.

— Ну-ну. И чего же ты хочешь?

— В Ленинград. На похороны. Друг ведь, Григорий Иванович. Соавтор. . .

— Вот именно, друг, а не родственник. . . И телеграмма не заверена. . .

— Григорий Иванович!

— Имей в виду: машины не дам.

— Попуткой доеду! — обрадовался Бармин.

— А командировочное удостоверение?

Эльдар промолчал. Опокин подождал, поморщился:

— Ладно. Вышло. Отмечу — и вышлю.

По совести говоря, отпускать Бармина Опокину не хотелось. Во-первых, из-за недостатка времени нужно было принимать решение самостоятельно, а этого Опокин не любил. Во-вторых, работы оставалось с гулькин нос, ищи теперь замену, вводи в курс — морока! В-третьих, Эля Бармин прекрасно ловит мизер, придется теперь приглашать на пульту этого долговязого и простодушного Чурюсова, а он такие сумасшедшие сносы делает — на каждом круге полжизни теряешь!

Григорий Иванович накинул рубашку, поднял трубку телефона:

— Товарищ комендант? Тут у одного моего брат умер. Да нет, ему на станцию надо. Не беспокойтесь, сам оформлю. От столовой? Через два часа? Спасибо.

Он положил трубку:

— Угольная колонна в район пойдет. С ней и доберешься. Деньги есть?

— Займу у ребят.

— Если не достанешь, заходи. Не забудь передать документы.

— Хорошо, Григорий Иванович. До свиданья.

Эльдар машинально собрал чемодан, забыв положить купленные за дорогу книги. Машинально походил вокруг столовой, пока водители ужинали. И так же машинально объяснил старшему колонны, почему ему надо в Ленинград. В кабине было грязно, и он не сразу отогнал мысль, как после рейса будет выглядеть роскошная светлая куртка с капюшоном. Потом напрягся и разом откинулся на сиденье. Водителя следовало развлекать. Как всегда с незнакомым человеком, Эльдар мучился вопросом, о чем поговорить. Не умея ничего придумывать, он остро завидовал тем, кто на любого случайного слушателя накидывается напористо и интригующе, и через минуту оба становятся закадычными собеседниками.

— Друг у меня умер. . .

Это получилось доверительно, задушевно и немножко скорбно. Не настолько, чтоб сразу исчерпать тему, но и не так бесстрастно, чтоб походило на случайную дорожную болтовню. Фраза как бы приглашала посочувствовать.

— Да, мне тоже из дому пишут, сосед у них в пруду утонул, — немедленно откликнулся шофер. Будто его включили. — Нырнул и больше не всплыл. Вытащили, а у него ни капли воды в легких — от страха загнулся.

— Поэтому тороплюсь! — продолжал Эльдар тем же бесцветным голосом.

Шофер странно посмотрел на него и прибавил газу:

«Психует парень. Еще ведь наместа до поезда. . .»

Машина далеко оторвалась от колонны и нетер-

пеливо резала вытекавшие на дорогу снежные барханы. На пятьдесят четвертом километре, сразу за поворотом, Бармин подумал, что несчастье всегда притягивает несчастье, не доехать им без происшествий. Вскоре шофер чертыхнулся, притормозил, вышел, сильно хлопнув дверцей, открыл радиатор:

— Вылезай, малый. Подшипник греется. Можешь в той будочке ожидать. А хочешь, здесь сиди. . .

В будке возле шлагбаума Эльдар хлебал горячий кипяток с огромным осколком сахара, который при откусывании нужно было удерживать двумя руками. Еще запомнилась несокрушимая вокзальная скамья, где он сидел, не читая, с книгой на коленях. Все было как в сухом банном тумане: и печет, и мурашки по спине от холода. Юрка Красильников вставал перед взором низенький, шумный, добродушный, громopodobно выкладывающий первому встречному самые тонкие и интимные стихи. Когда Юрка смеялся, то ухватисто прижимал нос большим и указательным пальцами, слегка выделенными из кулака, и прерывисто, с раскатами, фыркал. Себя он весьма заслуженно почитал за прозрачный талант, рецензии с удовольствием коллекционировал, а советам не следовал никогда.

Билет оказался без места, и все двадцать минут стоянки поезда Бармин прослонялся по коридору, пока проводница не указала купе. Два солдата сели на этой же станции, но уже раскидали вещички по полкам и говорили о ресторане. Оба воспросительно взглянули на Эльдара:

— Может, и вы с нами за компанию?

— Так закрыто, наверно? — Эльдар неуверенно пожал плечами. — Два часа ночи. . .

— Два сорок, — уточнил один, повыше, потоньше и посамоуверенней. — Николай. А его зовут Хайргельды. Можно короче, Хаир.

— Элька, — представился Эльдар. — Эльдар Бармин.

Сонный официант в вагоне-ресторане долго не мог сообразить, чего от него хотят, но в конце концов достал теплую полюстровую и бутерброды. А когда его пригласили присоединиться, в момент проснулся, принес холодную курицу и что-то в бу-

тылке. Николай вел себя широко и с той степенью независимости, которую придают солдату хороший перевод от родителей и начало десятидневного отпуска, не считая дороги. Элька скоро потерял нить разговора и, разрывая жесткие куриные сухожилия, нечасто напоминал:

— Во друг был! Через пол-Союза хоронить еду. . .

Вскоре его укачало окончательно. Проснулся он только в Караганде, в своем купе. Хаира и Николая не было. Подушка и ботинки на полу носили следы проигранной борьбы с морской болезнью, убранные не очень умелой, но тщательной мужской рукой. Эльдар брезгливо оделся, размышляя, как нехорошо получилось, что не уплачено за ужин. Счет в ресторане и без того повергал Эльдара в колебания: следует ли равномерно делить потраченное или смириться, если за тебя платят? А может, вынуть скомканную бумажку и не глядя швырнуть перед официантом в общую кучу? Он всегда краснел и маялся, осознавая, что таинственное братство «Сегодня ты, а завтра я!» рыцарски существует без посторонних. . . Ехал Элька, естественно, при деньгах. Но расплачиваться за всех не хотелось. Да и не было уже рядом тех, с кем ужинал. Однако вспоминать, что его долю внес солдат, было мучительно.

Элька проволоч по коридору чемодан, столкнулся в тамбуре с попутчиками, кивнул им на прощанье, справедливо рассудив, что остановиться теперь и начать разбираться вдвойне неудобно. В конце концов, он никогда в жизни с ними больше не увидится! Чувствуя спиной презрительную усмешку Николая, коря себя за бесконечное свинство, сошел на серый перрон.

В аэропорту услышал то, что и ожидал, что знал заранее: самолета на Ленинград сегодня не будет. Однако внутреннее чутье убеждало: успеет, все равно успеет. . .

Оглядел обложки старых журналов в киоске «Союзпечать». Долго считал пассажиров в фетровых бурках. На всякий случай подошел к справочному бюро:

— Скажите, пожалуйста, из какого города я

смогу сегодня вылететь в Ленинград? Мама, понимаете, умерла. . .

Он не покривил душой, мама действительно умерла, правда, давно. Сказать про друга показалось неуместным, не посочувствуют. . .

Женщина за окошком куда-то позвонила, порылась в книгах, сравнила расписания авиалиний и предложила Омск. Эльдар подумал, как в бухгалтерии примут отчет за командировку с неожиданным финтом Караганда—Омск—Москва—Ленинград. Больше — хоть и говорят, что в несчастье обостряется память, — ничего особенного не запомнилось. Вечером был дома. И, едва поздоровавшись с женой, хотел бежать к Юрке. Таня удержала:

— Не надо. Он сейчас в церкви. . .

— ???

— Родители пожелали. Никто из нас не смог отговорить. . .

— Ну вот. Стоило через пол-Союза ехать!

Непонятное чувство вины, которое смутно уже поднималось в дороге, сейчас захлестнуло и рвалось наружу. Эльдар понимал бессмысленность и неправоту самобичевания и все-таки громоздил напраслину, не мог ничего поделать со своим глубоким подсознательным ясновидением на грани волшебства. А оно в этот раз было жестоким: может, и правда ничего бы не случилось, будь он здесь? Как он смел, как мог не помешать Юркиной смерти? Они обмывали очередную Лешину звездочку в тот самый момент, когда Юрка делал последний вздох. И отчаянно чокались чашками с кофе, поскольку единогласно установили в гостинице «сухой закон». И у него, у Эльки, не дрогнула рука. И ни капли не пролилось из чашки. И после громкого тоста не стала поперек горла сушка. Будто все в мире осталось нормальным. Без Юрки!

Вот сам Юрка не дал себя обмануть повседневным диагнозом «грипп». Удивительная сила — пронизательность умирающего — заставила его написать завещание и заложить в книгу, так что листок нельзя было не заметить в случае смерти. Всего-то три дня болезни, исход которой Юрка предугадал, породили документ, хоть и не заверенный нотариу-

сом, но освященный последним в жизни человеческим правом — волей уходящего: «Все рукописи завещаю жене, стихотворение «Я черной ночью укололся» — матери. Поэму «Цепь цепей» — Пленуму ЦК. . .» Такой он и был весь — противоречивый и разбросанный, крикливо защищающий неизвестно от кого рабочее искусство и отдававший себя перед смертью на суд ЦК, ни более ни менее. . .

И этого могучего парня, веселого безбожника, талантище и недотепу, завтра отпевают в церкви. Ничего более нелепого придумать было невозможно. . .

Эльдар с трудом дождался утра. В Никольском соборе было сумрачно и тихо. Горели свечи. Гроб стараниями родителей выглядел безвкусно-пышным. Юра в гробу лежал совсем обычный — невысокий полноватый увалень, очень крепкий и земной, с лицом чуть желтее, чем раньше, и с неестественно белым шарфом под самый подбородок, маскирующим следы вскрытия. Юрина мать и Юрина жена, одинаково согнувшиеся, придавленные горем, заплаканные, в черных гипюровых накидках и с платочками-близнецами у глаз, были по-своему уместны посреди всей старушечьей тоскливой золотиконной ладанной суеты.

— За что, Эленька? — зарыдала в голос Екатерина Ивановна.

Эльдар не нашел слов, не утешил — поддержал под локоток, и материнские слезы ничего не прибавили к внутреннему сжатому состоянию:

— Екатерина Ивановна! Именем его клянусь: сделаю все, чтобы каждая Юрина строчка увидела свет!

Таня прижала к себе Екатерину Ивановну и зашептала что-то успокоительное и нежное. А Эльдар отошел, занял место между гробом и стеной, все еще ожидая, когда же наконец прорежется обостренное несчастьем зрение на детали. Но пока ничего не прорезалось. Положил ладонь на холодные Юркины пальцы, сделал это так, чтобы одновременно прикрыть порвавшееся и смятое серое кружевце на краю гроба.

Люди уже образовали небольшую толпу. Пришли

друзья и родственники. Поэты. Товарищи с газового участка, где Красильников работал слесарем. Проводив других покойников, присоединились всегдашние траурные старушки.

Эльдар подумал, что неплохо смотрится рядом с гробом, такой высокий, худощавый, сильный, так преданно и неотрывно уставившийся в лицо покойника. Любому видно: человек провожает в последний путь единственного друга. . . Всем, кто с ним здоровался, он тихонько пояснял:

— Ночью прилетел. Пол-Союза пришлось отмахать. . .

В какой-то момент сжатая внутри пружина стала медленно распрямляться. Выступили тихие необильные слезы, и Эльдар их не особенно скрывал и не очень подчеркивал: мужская тоска должна быть суровой и по возможности незаметной. Промокнув ресницы кончиками пальцев, он с высоты своего роста увидел двух пробивающихся к гробу девушек. С одной из них Юрка когда-то встречался, а она вышла замуж за другого — в общем, банальная история, принесшая поэту несколько хороших стихов. Вторая утешила его в этот момент, что банально ничуть не менее. . . Эльдар замахал рукой, подался вперед, поймал себя на мысли, что движения его чересчур суетливы и даже вызывающи возле гроба, перестал махать, но девушки уже заметили его, подошли. Эльдар пересказал услышанную от Тани версию смерти. Обменялись стандартными: «Жалко человека», — «Да, такой был парень!», — «Главное — так неожиданно» — и все было сказано, и люди мало-помалу разделили их. Только Юрину жену толпа обтекала, никуда не унося. И девушки прибились к ней, обнялись — и плакали втроем.

Эльдар сделал полшага назад, снова положил руку на холодный даже сквозь рукав сгиб Юркиного локтя. Странно вяжет события человеческая судьба! Откуда-то ударила весть, и вот у гроба сошлись три женщины, никогда до сих пор не видевшие друг дружку, не желавшие видеть, и которым вдруг стало нечего делить, наоборот, появилось объединяющее их: навсегда оставшаяся при каждой Юрина любовь. Одна сама ушла из его жизни. Ко второй Юрка вне-

запно охладел, встретив третью — будущую жену, которой все было безразлично, в том числе — и его любовь, и она просто сдалась, пожалела его за стихи, за ежедневные цветы, за безнадежное и застенчивое упорство. Но сердце, которого Юрка не мог добиться при жизни, он завоевал именно теперь, потому что только теперь окончательно и навсегда вошел в ее память. И в память всех троих. Общее, не щадя и не рая, выкристаллизовало легкие женские слезы, сблизило их — и уже оттолкнуло одну от другой. Потому что и любовь его была непохожей у каждой. . .

Эльдар коснулся набухших ресниц, влажными пальцами стиснул Юркин локоть.

Через сорок дней были поминки. Эльдар сдержанно относился к публичным доказательствам любви верующих к неизвестному и чужому им богу. Причуды Юриных родителей он терпел потому, что прежние друзья понемногу забыли этот некогда кипевший и беспорядочный дом. Бармин остался почти единственным, кто еще заходил, неизменно представляя себе, как бы сам Юрка иронизировал над потусторонними игрищами вокруг собственного имени. . . Не хотелось извести в себе живого и беспокойного друга. И Юрка, слава памяти, уже подавил похоронные воспоминания и становился тем живее, чем более тускнел и превращался в склеп бывший его дом. Впрочем, Элька не осуждал, не смел осуждать тех, кто пытался скрыться от гибели единственного сына за утешительный, привычно-безразличный говорок кладбищенских старушек, за равнодушную истовость молитв, за цепкую родственность прикоснувшихся к смерти.

Да и как было не простить Екатерину Ивановну, почти ослепшую за сорок дней горя, ссохшуюся, пергаментно-безликую, с негнущимися ручками перед грудью и вспухшими, растопыренными, словно оголенные корни, пальцами? Они будто бы просились в землю, и Эльдар чувствовал, как смерть протаптывает к ней свою тропинку. Об этом догадывался и Юркин отец и при ней, еще не умершей, сажал возле себя за скорую жену плотную сноровистую женщину, недавно схоронившую дочь. Они и познакомились у соседних могил. . .

Стесняясь за столом своего крупного сильного тела, Эльдар, как все, бросил на тарелку ложечку кутьи. Превозмогая отвращение, выловил из сладкой водички несколько рисинок, вытерпел их пресное прикосновение к языку. Юркин отец суетливо перекрестился. Старушки — глуховатые, громкие, с подчеркнуто экономными всезнающими движениями и поджатыми губами — вкрадчиво поднимали полные рюмки. Пригубив, заученно шептали: «Да будет земля ему пухом». И затем долго безвкусно жевали водку запавшими сморщенными ртами. Отрывочные, понятные только им фразы больно врывались в сознание Бармина.

— Посижу в Юриной комнате, — сказал он, выходя из-за стола.

Голоса в Юрину комнату доносились смутно. Из угла валились на Эльдара сверлящие взгляды святых. Лампады нехотя уступали в силе слабой электрической лампочке. На золоте Библии неаккуратной стопкой лежали тетрадные листы в клеточку с переписанными детским почерком молитвами. Из-за стеллажного стекла подслеповато щурились корешки книг, среди которых было потерянное теперь навсегда кое-что и из их с Таней библиотеки. Пишущую машинку небрежно стягивала поперек клавиш черная креповая лента.

А перед увеличенной Юркиной фотографией стояли чашка черного кофе, кусок торта на тарелочке, давно сгнившее яблоко, подернутый плесенью хлеб и блюдечко с подтаявшим, смазанным горчицей студнем. Сбоку в стакане пыжился пучок шелестящих раскрашенных бессмертников.

Эльке Бармину стало мучительно стыдно. Бедный Юрик! Ему, боровшемуся с лицемерием, ему, помчавшемуся однажды в Разлив переночевать в брошенном доме, где, по слухам, завелись привидения, ему, над чьим столом и сейчас висит портрет Афалины Сапиенс, подарок самодеятельного художника, — ему оказывают щедрые религиозные почести!..

И некому вырвать Юрку из стен этого склепа, где перехватывает дыхание. Некому сохранить Юркину душу в безликом людском забвении, выкорчевать ее

из убийственной и односторонней родительской жалости. Некому, так как именно он, Элька Бармин, допустил тогда предательскую мысль: куда девать рукописи, если Юрка умрет! И сколько теперь ни казись, сам накликать беду: злой гений невольного пророчества обрел силу и оборвал вместе с жизнью теплый несокрушимый талант друга. Если б только Эльдар раньше и до конца поверил в себя, в силу своей магии, он бы предотвратил судьбу, обогнал бы ее на каком-либо повороте. Ведь не будь неосознанной зависти — не было бы и этой бессмысленной страшной славы ценой в букетик раскрашенных бессмертников!

Если б все вернуть и перечеркнуть — чтобы снова услышать бесцеремонный Юркин смех, снова податься из-за выдуманной Атлантиды! Черт с ним, с превосходством воображающего о себе поэта! Имела бы только обратную силу его, Элькина, непостижимая способность! Вернуть бы человечеству Юркин талант!

Но нет. Не шагнуть Юрке за стены убивающей его памяти. Некому затеплить потерявшуюся искру...

Некому?!!

У Эльдара закружилась голова, холодная молния, ослепив на миг, ветвисто вошла в тело.

...На коньке крыши сидел воробей. Проходящий трамвай сотряс воздух, краешек железного листа принял колебания и неслышно задребезжал. У воробья взъерошились перья и сильно зачесались лапки.

...Тополь на углу улицы потянулся, привстал на цыпочки и, по-стариковски хрустнув косточками, перенес тяжесть кроны на другую сторону ствола.

...За стеной пятнадцатилетний мальчишка, пылая, сочинял письмо девушке.

Эльдар прислушался к себе и уловил, как звонкая бесконечность — главный персонаж Юркиных стихов — заново прорезает в нем зрение и слух. Именно бесконечность мира давала ему понять: нет, не бог, а талант делает человека бессмертным! Талант непременно оставляет эхо.

Ни слова не говоря, Бармин выскочил из квар-

тиры, завернул за угол, перебежал горбатый мостик и, чутко ступая по булыжной мостовой, поспешил к лобастому, улыбающемуся вывороченными губами, до боли каменному дельфину. Сколько стихов нашептал Юрке этот питерский старожил, помнивший падение Древнего Рима и переселенный неизвестными мастеровыми в карельский гранит! Эльдар торопился угадать недописанные Юркой и вызревающие в нем строчки. . .

Становилось все тяжелее нести в себе огромный, пока непривычный и чужой талант. Эльдар на секунду застыл у какого-то окна, взгляделся в отражение, не поверил себе, перешел к следующему — и увидел в стекле то же самое — полноватого увальня с широкой «простецкой» физиономией, украшенной ехидной ухмылкой. Последняя шутка гения!

«Прибавь-ка эти черты к своим собственным, — приказал себе Эльдар Бармин. — Они теперь и твои тоже. Навсегда. Привыкай, дорогой соавтор. Ибо таланты не умирают!»

Эльдар машинально прижал нос большим и указательным пальцами, слегка выделенными из кулака, и раскатисто, с придыханием, фыркнул.

ХОМО АВИЕНС

Юрий Петрович Свидерский посмотрел на часы. До конца рабочего дня оставалось часа полтора. Его рабочего дня! — официально смена кончилась, но кто на заводе укладывается в конституционные восемь часов? Правила заводского хорошего тона не позволяют уходить с гудочком. А для главных инженеров гудочков вообще не выдумано. Через пятнадцать минут последнее совещание со специалистами. Затем разобрать почту. Подписать полсотни бумаг. Отпустить секретаря. И вот тут...

Юрий Петрович улыбнулся. Рискнул бы кто-нибудь угадать, чем занимается по вечерам главный инженер у себя в кабинете — за закрытыми дверями и опущенными шторами? О, это тягучее ощущение невесомости, послушное тело, быстрое смещение углов, стен, падающий потолок, птичья зоркость глаз — ну с чем еще сравнишь мудрую память полета?! Юрию Петровичу нравится смотреть сверху на тридцатиточечный телефонный пост, на перекидной календарь с деловыми записями, на цветные карандаши в стакане, на металлический пятиугольник Знака качества. Все принимает необычный, неземной вид. Разумеется, кабинет — не тундра, не ночной парк, не цирк и даже не конференц-зал, не очень-то разлетаешься. Но к габаритам своего кабинета Юрий Петрович давно притерпелся. Довольствуется уже не самим полетом, а сознанием, что умеет, что в любой момент полетит!

Если бы Юрия Петровича спросили, как он этому научился, он бы затруднился ответить. Бабка Стешиха — она ведь не учила, она только заверила, что он может. И все. И он полетел. А потом лишь ставил дыхание, отрабатывал рулежку, тренировал вестибулярный аппарат, потому что при быстрой смене высоты кружилась голова. Умение летать, говорила бабка Стешиха, как совесть: либо есть, либо нет. И с этим уж ничего не поделаешь...

Загудел динамик внутренней связи:

— Юрий Петрович, к вам товарищ Шабалов. Говорит, вы ему назначили.

«Какая-то знакомая фамилия. Но, по-моему, не заводской. Может, из газеты? Совершенно из памяти выскочило. . .»

— Попросите войти, Лия Константиновна. Только предупредите, пожалуйста: у меня десять минут до совещания.

Дверь отворилась прежде, чем он закончил фразу.

— Мне хватит, Юрий Петрович. Во всяком случае, я не помешаю, — сказал незнакомец.

Впрочем, незнакомцем его можно было назвать с великой натяжкой. Определенно, где-то его Юрий Петрович видел. В райкоме? В министерстве? Странно. Эти безупречные молодые люди, светящиеся энергией и обаянием, имеют почему-то неяркие малоприметные лица и плохо запоминаются.

Гость окинул кабинет коротким взглядом — будто выстрелил. Интерес, кажется, проявил только к телефону и волосатой пальме до потолка. Главный инженер по-прежнему вопросительно смотрел на него.

— Вы фантастику любите, Юрий Петрович?

«Все-таки из газеты», — разочарованно подумал Свидерский, огорчаясь непростительной своей промашке.

— Это я к тому, поверите или нет, — продолжал незнакомец. — Не у всех, знаете, уровень позволяет.

К каверзным вопросам и чужому остроумию Юрий Петрович относился без восторга. Обработка издавна чаще всего кончается весьма прозаически. А понятия обычного и необычного редко дают право вспоминать о фантастике. Даже если бы вдруг Юрий Петрович начисто потерял здравый смысл и воспылал страстью к выдумкам, в самом Шабалове не было ничего невероятного. Кроме, может быть, висящего на шее вогнутого диска на массивной цепочке. Максимум, что мог отвести гостю в своей памяти Свидерский, так это командированный из Москвы.

— У меня мало времени, товарищ. Не знаю, простите, вашего имени-отчества. . .

— Арт. Называйте меня Арт.

— Просто Арт? Да. Так какое у вас ко мне дело?

— Я инспектор из будущего.

Свидерский с тоской посмотрел за окно. Везет же ему, черт возьми! Не просто инспектор, а прямо-таки из самого-самого будущего. . . Думай теперь, как поспособнее выпроводить. Разве что в охрану звякнуть?

Он нажал кнопку.

— Лия Константиновна!

Шабалов твердо смотрел в глаза. Свидерский смешался и сказал совсем не то, что хотел сказать:

— По винту люди еще не собрались?

— Один Бармин, — слышалось из динамика.

— Подойдут — пропускайте сразу, без задержки.

— Хорошо, Юрий Петрович.

Свидерский с сожалением снял палец с кнопки. Нет, нужен условный сигнал. А то из-за своей тактичности вляпаешься в историю. Сиди вот теперь наедине с психом! Завтра кадровикам голову отверну: куда охрана смотрит? Полный завод посторонних, а они себе дрыхнут на постах!

Юрий Петрович счел нужным разъяснить незваному гостю обстановку — вдруг, на счастье, тот окажется догадливым?

— У нас ЧП, товарищ Шабалов, ходовой винт не держит. . .

— Разрешите присесть?

Свидерский в душе смутился и едва заметно побагровел. Деликатным этим вопросом гость сразу дал понять, что признает законность колебаний главного инженера, но уходить не собирается. Похоже, и мысли не допускает, что другим некогда. . . Оставалось предложить незваному гостю стул и вновь принять вопросительное выражение лица.

Шабалов сел, тронул край диска:

— Не возражаете, если я запишу нашу беседу?

— Но. . . Для меня, поверьте, все еще несколько туманно. . . Э. . . цель.

— Да-да, момент!

Шабалов отстегнул диск и установил на шкафу за спиной Свидерского. Когда вернулся, на груди его горел точно такой же. Юрий Петрович ощутил странное жжение под ложечкой.

— Я считаю экспертом по вашему времени, — пояснил Шабалов. — Как вы, надеюсь, понимаете, оно интересует не только историков, но и психологов, литераторов, художников. К сожалению, нам неясны некоторые тенденции двадцатого века. В частности, как зарождаются в ваших современниках ростки будущего. Задача настолько важная, что некоторым моим коллегам разрешено в отдельных случаях выходить на прямую связь. Если, разумеется, есть стопроцентная гарантия сохранения тайны.

При этом Шабалов так выразительно посмотрел на Свидерского, что тот почти машинально ответил: «Да-да, что за вопрос?» — и этим окончательно подчеркнул свое доверие тому, кого сначала посчитал психом и проходимцем. Помимо всего прочего, Юрий Петрович все-таки совсем не случайно занимал свой пост, да и в технике разбирался. Он сразу оценил: бесплотные на вид, слабо вогнутые объективы-диски несомненно относятся к достижениям более или менее отдаленного будущего. Это, пожалуй, скорее, чем любые слова, заставило безоговорочно поверить Шабалову.

— Решено выборочно побеседовать с вашими современниками, — продолжал Арт. — Несколько человек, знаете ли. Наугад. Ну там, деятели искусства. Производственники. Даже тунеядцы. А также случайные встречные... Принимаются, конечно, меры строгой маскировки, но с вами, как видите, без обмана: естественная реакция нас тоже интересует...

Жжение под ложечкой усилилось, к нему прибавилась какая-то тягость. Юрий Петрович чувствовал себя как под рентгеном: его рассматривают на экране со всеми печенками-селезенками, а ему не заглянуть в собственное нутро, и все, что он сейчас подумает или скажет, послужит приговором целому поколению. Ответственность не для главного инженера. Может быть, даже не для начальника главка... Интересно, с кем-нибудь согласованы эти эксперименты или налицо нездоровая самодеятельность?

— Что вам там, в будущем, делать больше нечего? Это ведь бестактно — подсматривать! — вслух

проворчал Свицерский, а про себя добавил: «Мне-то еще краснеть нет причины. Завод на хорошем счету. Да и лично я, чего уж перед собой стесняться, не из последних. Кто еще из главных инженеров может похвастаться умением летать?!»

Он зацепился носками полуботинок за нижнюю перекладину стола и плотнее вдвинулся в кресло, ощутив, как незаметно воспарил над сиденьем. Чтобы успокоиться, вынул пачку сигарет, закурил.

— Вот что, Арт. . . э. . . Отчества у вас нет?

— Нет, не буду лгать. Но если вам так неудобно, я придумаю.

— Ладно, привыкну. Видите ли, сейчас люди соберутся. Я не смогу уделить вам. . . э. . .

— Да вы не обращайтесь на меня внимания, ведите свои дела. Это даже хорошо, рабочая обстановка. . . Вы ведь не будете возражать, если я здесь в уголочке посижу?

— Но мне бы не хотелось, чтобы вас застали. . . — Свицерский занервничал. — Не могли бы вы как-нибудь. . . Ну, вы понимаете?

— Сделаться невидимым? Нет ничего проще. Хотя, честно говоря, надоело исчезать по пустякам. . .

Мгновенная пелена прошла перед глазами Свицерского, и Шабалов, внезапно уменьшившись, оказался на столе главного инженера, на подставке Знака качества. Сделал он это совершенно вовремя, потому что в кабинет вошли участники совещания.

Рассаживались в соответствии с привычками и характерами. Бармин, заместитель начальника цеха, — ближе к столу. Главный технолог и замглавного конструктора — вместе у двери: так им сподручнее шептаться о рыбалке. Главный металлург — вполоборота у окна. Механик с кипой бумаг на коленях — напротив хозяина кабинета. Начальник техбюро, как всегда, за протокольным столиком.

Свицерский по-иному, с некоторой долей опаски посмотрел на собравшихся. Кто из них способен сболтнуть лишнее? Такое, что навеки опозорит наше время, уронит наш престиж перед будущим? Почти за всех можно ручаться. Кроме, пожалуй, Бармина. . .

В свое время, когда решался вопрос о главном механике, директор горой стоял за Бармина: моло-

дой, дескать, растущий, перспективный, хватит практикам штаны протирать, засиделись, нужно смелее выдвигать молодежь, пора давать им дорогу. Юрий Петрович настоял тогда на иной кандидатуре. И не раскаивается. Бармина только допусти — работать станет невозможно, покоя не даст, свары разведет. Пришел в цех с тихой непыльной работы, привыкай, кажется, спрашивай совета добрых опытных людей. Так нет. Через неделю ему, главному инженеру, заявляет, сопляк этакий: «Вас, мол, с механиком за такое содержание оборудования надо под суд отдавать!» Видали? Будто главный инженер самолично должен станками заниматься. На это, между прочим, службы есть. Юрий Петрович не забыл этого разговора. И глаз с Бармина не спускает. Посоветовал кому следует, перебросили парня на подготовку производства. А там не разгуляешься. И оборудование, и энергетика, и инструмент, и тепло, и мусор, и тараканы — ого! За все теперь голубчик отвечает. Как ни старайся, огрехи найдутся. А недоработки всегда виднее заслуг. Ни одна комиссия не забывает отметить. И отсюда нет-нет да и взбодрить приказом. Глядь, закатилась слава реформатора, закрепилось негативное мнение. Позавчера директор на декадке выступает, и уже другая песня: «Есть, говорит, в механическом цехе молодой энергичный инженер Бармин. Не только сам ничего организовать не умеет, но и то, что до него существовало, ухитрился развалить. . .» Вот так-то. Руководить, граждане, — это политика. Дурной молвой человека вернее заслонить, чем просто выгнать, сделать из него мученика. Ты вот теперь попробуй попрыгай. Да где уж! Сиди себе тихо и не рыпайся. Ишь, елозит честными глазами по дутому блестящему карнизу, по лепной розетке в углу потолка, по верхушке волосатой пальмы. Наверняка догадывается о роли главного инженера в своей судьбе. А только ничего, голубчик, не поделаешь, пока Свицерский на посту.

Юрий Петрович нахмурился, увидев, как крохотный Арт нацеливает из-за пятиугольника свой булавочный блиц. Чуть не забыл этого. . . репортера-инспектора. . . Позору не оберешься, чего он тут за короткий миг передумал! Да и подчиненным сейчас

в души загляни — не обрадуешься. Перебивают мысленно ему косточки. Вот, мол, старый перец, дела у него дома нет, коль в семь вечера совещания созывает, ни дна б ему, ни крыши! А главному инженеру и правда торопиться некуда и незачем, вся жизнь тут. Детей нет. Телевизор не привлекает. С женой особенно не разговоришься, отвык. Зато уж и вы посидите. За компанию.

Свидерский нарочно не торопясь раскурил потухшую сигарету, пустил струйку дыма, отчего Арт посинел, скорчился и ушел с головой в воротник. Юрий Петрович выпрямился, постучал костяшками пальцев по стеклу:

— Что ж, дорогие помощники, совсем работать разучились или как? Три недели винт то на сборку возим, то снова ставим на станок. Как же вы, Эльдар Антонович, такой энергичный и грамотный, допускаете, что винт из цеха уйти не может? Технология ведь непосредственно по вашей части, не так ли?

— Винтом у нас лично начальник цеха занялся, никого не подпускает, — отпарировал Бармин. — Сам график расписывает, сам команды рабочему подает, сам режим на станке устанавливает. Стиль руководства такой: не головой, а ногами.

— Ну вот, видите? Значит, он больше вашего о программе болеет. Не доверяет вам.

— Просто по-другому не умеет. А я считаю, если я помощник, то или не мешай мне в моих вопросах, полную власть предоставь, или выгоняй к чертовой матери! Кстати, больше пользы будет.

Свидерский удовлетворенно и едва заметно хмыкнул. Закипает юноша. Не ляпнул бы чего с досады, да вряд ли: кое-что все-таки сумели ему внушить. Огрызается, не без того, ну да если чуток и погорячится, то пусть там, в будущем, знают, с какой публикой работать приходится!

Юрий Петрович деликатно кашлянул в кулачок и со всей мягкостью заметил:

— Ваш начальник до восьми, до девяти вечера здесь сидит!

— Лишнее доказательство моей правоты. Можно и на раскладушке в цехе ночевать, а дело с места не сдвинется.

«Ах, язва, на меня намекает! Все знают, что я раньше десяти с завода не уйду».

Свидерский покосился на Арта. Мотает на диск слова и выражение лиц, а потом где-нибудь исторические хроники расклеит. Ткни сейчас пальцем — мокрого места не останется. Окунуть шмакодавку в мраморную чернильницу, придавить железной крышкой — и никто никогда не вспомнит о горе-исследователе. . . Ростки ему понадобились! Да тут их сроду ни в ком не было! Крутимся изо всех сил, дальше носа заглянуть некогда. Не до будущего — с настоящим бы как-нибудь справиться. . .

Юрий Петрович начинал злиться, а это пагубно для репутации выдержанного, безукоризненно вежливого руководителя. Не стоит из-за пустяков подрывать свой авторитет перед потомками. Он смял сигарету, швырнул в урну и почти подавил раздражение.

— Вам, Эльдар Антонович, как плохому танцору, всегда шнурки ботинок мешают. . .

— Я полагаю, Юрий Петрович, мозги мне вправлять можно и в рабочее время. А если вас интересует истина, то я уже докладывал: цех не виноват, мы неделями прикатываем, драим пастой, а сборщики раз нагрузят — на винте такие надиры, хоть целиком его выбрасывай. Мы четырежды переделывали. Сколько можно?

Бармин впервые посмотрел в глаза главному инженеру, и Свидерский ясно прочел в этом осуждающем взоре: «Тратим время попусту, играем в никому не нужные игры, совещаемся, делаем вид, будто так и надо. И как ты по инерции занимаешь здесь кресло, ничегошеньки не знача, так и мы все по твоей милости абсолютно ни к чему. Заявить вслух ни у кого не хватает смелости, за места свои дрожим. И выйдем отсюда как и пришли: не нацеленные, а пустые и оскорбленные. . .»

Свидерский внутренне поежился от этого невысказанного монолога и поторопился перевести разговор в другое русло:

— Может, станок виноват?

— Проверка на точность отклонений не выявила! — опередил ответ Бармина механик, трениро-

ванным жестом выхватывая из папки бумажку и потрясая ею перед собой.

Бармин опять поднял голову и ухмыльнулся, потому что знал цену таким вот актам, сам не раз их организовывал. Но в данном случае не в точности дело. И не в том даже, что винт и гайку к нему делают на разных станках, хотя это и не положено: начальник цеха слушать ничего не желает, приказывает нарушать технологию, лишь бы поскорее разделиться. И это тоже знают все, здесь сидящие. Но молчат.

— Ваше мнение? — обратился Свидерский к металлургу.

— Визжит, как поросенок! — бодро ответил тот, отворачиваясь от окна.

— В таком виде ставить нельзя, — сказал заместитель главного конструктора, чувствуя, что дошла и до него очередь. — Вы же знаете, Юрий Петрович, в Ильичевске один кран опрокинулся.

— Но ведь не нашей конструкции? И не из-за винта?

— Все равно, — стоял на своем замглавного.

— Простите, Юрий Петрович. — Бармин сунул в зубы незажженную сигарету и пожевал ее, не решаясь чиркнуть спичку. — Я консультировался в Доме техники, у нас неудачная пара: винт плохо принимает закалку, материал гайки на него наволакивается, вот и идут надиры. . .

— Вы в нашу работу не лезьте! — закричал металлург. — Такие нам по кооперации отковали. Целиком в печь не влезают, из-за того и не закалить.

— Зачем же вы заложили этот металл, если знали, что так получится?

— А я не знал! — Металлург обезоруживающе улыбнулся.

Арт на столе беззвучно захохотал.

— Имейте в виду, Эльдар Антонович, — поспешил завершить совещание Свидерский, — никто не позволит выбрасывать на ветер государственные средства. Чертежи изменены, в дальнейшем такие винты не пойдут, но эти придется делать, в них слишком много вложено.

— Мы только ближние копейки учитываем, Юрий

Петрович, а рубли хороним. Посчитайте, во сколько нам уже обошлись трехнедельная работа уникального станка, простой двух бригад сборщиков, штраф за непоставку? Может, дешевле все-таки отправить заготовки в шихту?

— Новых нам не дадут, и я прошу принять меры. . .

— Зря беспокоитесь, Эльдар Антонович, — добродушно и громко сказал главный технолог. — Я только что из цеха, через пару часов винт будет как стеклышко.

— В пятый раз, — горько заметил Бармин.

— Ничего. Ты с женой каждую ночь спишь — и не надоедает! — грубо пошутил главный технолог.

— Значит, я могу надеяться, завтра утром винт будет на сборке? — уточнил Свидерский.

Бармин кивнул.

— Но вообще-то безобразие, Юрий Петрович. — Молчавший до сих пор начальник техбюро оторвался от протокола. — Metallурги поумничали, поставили не тот металл и не удосужились хотя бы предупредить. Не дело так.

— Хорошо-хорошо, учтем. — Свидерский успокаивающе поднял руки. — Все свободны.

Ему уже порядком надоело это сборище. Парадокс современности. С Барминым ругаешься, так он хоть аргументы какие ни на есть выставляет. Умел бы входить в положение руководства, цены б ему не было. А остальным лишь бы спихнуть с себя — и трава не расти!

Свидерский поморщился, видя, что Бармин со всеми вместе не удалился, и поторопился задать вопрос, пока Арт, обманутый тишиной, не возвратился в естественный облик:

— Вы что-нибудь хотели добавить, Эльдар Антонович?

— По винту ничего. Но я еще раз прошу отпустить меня из цеха. Не могу больше ходить под начальником, который сам вопросов не решает и другим не дает.

— Я уважаю ваше мнение, Эльдар Антонович, но не могу оголить цех. И вообще — последнее время начальник вроде вас хвалит?

— Однако на декадке за меня не вступился. . . Да и цена этим похвалам! Спорить я с ним перестал, в ущерб делу, вот и удостоился. Поймите, я ведь не повышения прошу. Я могу делать в три раза больше, пусть только никто не мешает.

— Высокое мнение у вас о своей персоне. Ну-ну, не кипятитесь, я еще раз подумаю.

— Вы и раньше то же самое обещали.

— Пока не было такой возможности.

— Да вы даже и не вспомнили ни разу о своем обещании. Вы забыли его, едва произнесли!

Бармин вдруг совсем успокоился, сел, закинул ногу на ногу, закурил.

— Послушайте, Юрий Петрович, а вы никогда не задумывались, что вы — вот такой, какой есть, — доживаете свой век? Как тип руководителя? Как человек? Вы отдали жизнь заводу. Ни времени, ни сил не жалели. Все, что есть у нас хорошего, это ваша заслуга. Но недаром говорят, недостатки — продолжение наших достоинств. В этом смысле все, что только есть на заводе дурное, тоже создано вашими трудами. . . Оглянитесь же наконец! Неужели вам невдомек, что вы стали организатором круговой поруки бездельников? Стоит зацепить одного, поднимают вой все. Ваши поистине героические усилия по выполнению программы — чистая фикция: вы надрываете пуп там, где люди давно уже научились брать умом. Вы безнадежно отстали от века. Потому что организация производства — не правда ли, вы кое-что слышали о ней и даже внедрили у себя на заводе? — так вот, она вам нужна не для работы, не для повседневного пользования, нет, вы создаете ее на бумаге для рапорта инстанциям. Вы ведь передовой, вы на виду, пусть вам лишний раз воздадут!

Бармин сделал несколько быстрых затяжек, плюнул на сигарету, подождал, пока она дошипит, без сожаления посмотрел на съезжившегося за своим бесконечным столом Свидерского.

— О, разумеется, Юрий Петрович, вы незаменимы. Вы создали искусственный организм, который держится на вашем таланте — на вашем не по назначению потраченном таланте. Вы скрепили сие созда-

ние своей недюжинной волей, подобрали бестелесных помощников, которые не мешают проводить единственно вашу позицию. Пока искусственный организм работает, дышит, дает продукцию, никого не интересует, что там у него внутри. Политика ваша, Юрий Петрович, на нервах, на жилах, любой ценой. Вот почему, вы незаменимы: с вами уйдет целая система. Никто вашу линию не продолжит. Она сама отомрет. И остатки ее надо будет тщательно выпалывать, вытаптывать, разгонять всех тех, кого вы с великим тщанием выращивали. О вас никто не вспомнит с благодарностью, несмотря на все ваши заслуги и награды. Не обольщайтесь. Вы пережили себя, свой талант!

— Что вы от меня хотите? — враждебно спросил Свидерский.

Ему не нравилась эта внезапная перемена в Бармине. Он лихорадочно рылся в памяти, но не мог ничего там найти для возражения. Талант, талант! Заладили про талант. Да что вы знаете о моем таланте? Вы, которые никогда не летали, которые если и отрывались от земли, то только в лифте?

— От вас? — Бармин рассмеялся. — От вас, Юрий Петрович, я уже ничего не хочу. Я счастлив тем, что не так уж много у нас таких. Вы ведь понимаете, раз я все это вам говорю, значит, подыскал себе место. К сожалению, это тоже ваш стиль: правду вам можно сказать только имея в запасе другую работу.

Свидерский встал — маленький, ссохшийся, вежливый, не очень-то задетый словами Бармина, защищенный от всего мира привычной обстановкой. Он любил громоздкие вещи — свой огромный, беспорядочно заваленный бумагами стол, шкафы с кубками и памятными призами заводу, просторный, как аэродром, кабинет с закругленными поверху окнами на двух стенах и стульями по периметру, любил потому, что этот кабинет служил ему уже тридцать лет, половину жизни! Волосатая пальма и тяжелые шторы лишь подчеркивали рабочий аскетизм главного инженера и не мешали сосредоточиться.

Бармин тоже встал, покачался с носка на пятку, пошел к двери, но обернулся:

— Мне обидно покидать завод из-за того, что пришлось не ко двору. И что еще обиднее — покидать, осознавая себя правым — и бессильным!

Он хлопнул дверью.

Юрий Петрович свирепо выдохнул, стараясь вместе с воздухом выплеснуть из себя злость. Злость не проходила. Он сел. Закрыв глаза. Расслабился. Дал себе полный покой. И сразу почувствовал, как тело благодатно всплывает над сиденьем.

— Ну, все у вас на сегодня? — раздался насмешливый голос Шабалова. — Здорово вы всех в кулаке держите, а?

— А вы не могли бы уже уйти? — Юрий Петрович открыл глаза.

Арт стоял перед ним в нормальном облике и радужно мигал вспышкой.

— Нет-нет, не только с завода, — поспешно добавил Юрий Петрович. — Совсем. Туда, в свое будущее.

— Разве вам станет легче? Каждый из нас стоит перед судом будущего. Скоро вам заявят такое в глаза и другие, не только Бармин.

— Мальчишка! — прошипел Свидерский.

Будь тут один Бармин, он бы с ним справился. С одним Барминым чего не справиться. Да только много уже таких барминых. В сварочном двое. У конструкторов один. В ОТК тоже такой непогрешимый-непримиримый. А главбух? Даром что шестьдесят с хвостиком, войну и культ пережил, а туда же, вечно у него особое мнение. Великое счастье, разобщены смельчаки, не видны друг другу, не то что остальные, объединенные трусостью. Нет, стареет, стареет Свидерский. Раньше ему сам директор был не указ, уже не одного в этом кабинете пересидел. Теперешний тоже вначале свою линию гнуть пытался, пришлось тогда всех своих на ноги поднять. Директор на заводе — горит план ярким пламенем. Куда-нибудь ненадолго отлучается, оставляет за себя Свидерского — и план в кармане. Вот так. Покрутился немного нынешний директор — и понял, сдался, к главному инженеру пошел за сове-

том. А как же? Кому охота, чтобы заметили где надо, кто работе мешает? Не родился еще такой человек. Жаль, уходят времена. Уже и в парткоме все чаще авторитетом давить приходится, не так, как прежде, когда по одному взгляду все руки дружно взлетали вверх. Но не надейтесь, жив еще Свидерский. И система его жива!

— Мальчишка, говорите? — прервал мысли Юрия Петровича Шабалов. — А ведь ему тридцать три. В его возрасте вы уже этим заводом командовали. Не странно ли? С буржуазными спецами — и то сотрудничали. А с нормальным нашим парнем общего языка не находите. Через десяток лет такие, как вы, от реформ его отучат. Заставят задуматься о нервочках. О пенсии. Да слава богу, которого нет, попадет он скоро в хорошие руки.

— Уйдет все же?

Такая радость была в голосе Свидерского, что Арт рассмеялся:

— Не рассчитывайте, есть иные пути. И поскольку вы все равно ничего с будущим не поделаете, раз уж оно состоялось, то я вам оттуда газетку захватил. Смотрите, кто из него вырастет!

Свидерский небрежно развернул паутинной толщины прочный лист, пошарил глазами по полосе и вдруг вскочил, стоя посмотрел дату под названием.

— Да. Никогда бы не подумал.

— Думать по-настоящему вы отвыкли давно, едва уверовали в свое право решать за всех. Впрочем, тогда же приблизительно вы и решать перестали, — дерзко заметил Арт с барминскими нотками в голосе.

— Как-то здорово у вас с Барминым получается: тот ничего не делает, другой зря хлеб жует. . . Кто же тогда работает?

— Так это ж не благодаря вам, а вопреки. Знаете, как вас на заводе кличут? Свидубский.

— Слушайте, по какому праву вы мне все это рассказываете?

— У будущего одно право: оно точно знает, что именно до него доживет.

— Не слыхал я до сих пор о ваших коллегах в прошлом. . . Иначе почему молчат те, кому вы открылись?

— Предполагаете описать мое появление в мемуарах? Не смешите, Юрий Петрович. Ну кому вы посмеете выдать меня? Вы, насмерть обокравший себя, растоптавший свой талант? Достаточно того, что вы изо всех сил придерживаете прошлое, лепите из него удобное для себя настоящее, не боясь выпасть из будущего, потому что ваше будущее — это день нынешний, дальше вам не заглянуть. . . Нет, гражданин Свидерский, вы постараетесь забыть меня, вычеркнуть из сегодняшнего вечера, выбросить из головы. Не было меня. Не было. Не было — и все!

Арт обошел Юрия Петровича, снял со шкафа светящийся диск, щелчком совместил с тем, что уже висел на груди. Отщипнул и выдернул на длину вытянутой руки паутинку записи. Судя по цвету, заполнение качественное. Этим кадрам у них там цены не будет. И Эльчик Бармин не один раз хохотнет над кадрами собственного прадеда в зеленой молодости, на переломе судьбы.

Юрий Петрович стоя следил за сборами Арта, и у него усиливалась тяжесть под ложечкой, от которой — не продохнуть. Он все еще держал в руках газету, и газета жгла ему руки. Он мямля, растягивал паутинный лист, и статья о Бармине корчилась, разбухала, выпячивала строчки крупных, выпуклых букв.

— Оставьте мне газету, — внезапно попросил Свидерский, не глядя на Шабалова.

— Что вы, это невозможно! — возразил Арт.

— Бойтесь наследить в прошлом? Получить взыскание? А если вот так?

Свидерский скомкал лист, сунул в ящик стола, повернул ключ, вынул его и спрятал в карман.

Арт покачал головой:

— Напрасно вы. . . Едва я исчезну, растает все, что меня сопровождает. . . Хронозащита. . .

Свидерский вцепился в край стола, словно боялся вдруг очутиться вне времени. Неимоверно хотелось взлететь. Полетать хоть немного. Хоть от стены до стены. В полуботинки, похоже, кто-то насыпал раскаленного песка. Тускнел воздух. Но у Юрия Петровича не было сил дойти до выключателя и зажечь свет. Он устало опустился в кресло, повис

над сиденьем, подвигал над полом ступнями ног.

— Позвольте поинтересоваться, товарищ Шабалов, а чем особенным отличаются там у вас люди?

— Да я ведь тут неподалеку, из следующего века, многого не знаю. Рассказывают, у некоторых появляется способность летать.

— Летать? — вскинулся Свидерский. И сразу же, скрывая изумление, низко наклонил голову. — Но ведь Бармин не летает, я знаю, — пробормотал он, обращаясь к столешнице. — Я этих, которые летают, сразу чую. . .

— Вы правы насчет Бармина. И характер у человека так себе. И приспосабливаться не умеет. Ни тебе гибкости, ни уступчивости, одна принципиальность и прямизна. Другой бы среди таких, как вы, легче своего добивался, без столкновений. Бармин — работник, не ловчила. И в этом смысле — человек будущего. Хомо Футурус! А то, чего он не умеет, вряд ли понадобится ему в будущем, оттого и не дано при рождении.

— Не дано. . . А что бы вы сказали, если б я вам сейчас предъявил Хомо Авиенса? Человека Летающего?

— Пойдите, уж не на себя ли намекаете? — догадался Арт.

Так вот в чем дело! А они-то с правнуком Эльдара Бармина головы ломали, что случилось как раз в эту ночь со Свидерским-Свидубским. Какая жалость — ни предостеречь человека, ни за руку удержать. Иметь бы право рассказать ему, что он сегодня даже ночевать домой не явится. Запрется здесь изнутри, когда все на заводе утихнет. Опустит шторы. И только наутро найдут его, взломав дверь, лежащим лицом вниз посреди ковра в такой позе, точно его сбросили с большой высоты, хотя больше чем со стула или со стола упасть он не мог, а в этом случае как объяснить, что его так распластало по полу? И следовательно, вдоволь поломав голову, закроет дело, заставит себя поверить в инфаркт. . . Потому что криминалистика окажется бессильной перед загадкой его смерти. Это в будущем, во времена Арта классифицируют странную болезнь: атавистически пробуждающийся в полете страх

падения, страх, убивающий прямо в воздухе, так что летун с размаху грохается оземь, уже мертвый от сознания, что разучился летать! Но откуда вдруг этой болезни ни с того ни с сего проявиться в кабинете железобетонного, неуязвимого для логики и человеческих чувств Свидубского?

Теперь понятно, в чем не смог разобраться его современник-криминалист. . .

— Что ж, покажите, — согласился Арт, не скрывая снисходительного тона: не верилось, что здесь (здесь!) обитает чудо последующих веков.

Снисходительность гостя возмутила Юрия Петровича. Он хоть и стеснялся Шабалова, но не преминул бы утереть нос отточенному молодчику, явившемуся сюда из готовенького, чистенького, заложенного их руками будущего. Инспектор! Заглянул мимоходом, ни в чем не сомневающийся, заранее во всем уверенный, и считает для себя унижительным признать ростки будущего в нем, Свидерском.

Юрий Петрович притиснул к бокам локти. Отодвинул горизонтально кисти рук. Что было силы надавил подошвами в пол. И взмыл из-за стола. Под потолком сделал кувырок, напряг грудь, следя за тем, чтоб из кармашка не выпала авторучка. Потом, лежа в воздухе на спине, расслабился, заложил руки за голову.

— Юрий Петрович, шторы! — укоризненно заметил Арт.

Волна стыда залила щеки Свидерского, и он юркнул в кресло. Вот будет номер, если кто-нибудь, проходя мимо окон, увидит парящего под потолком главного инженера! Он закурил. Подровнял и сложил бумаги в стопку. Шабалов, смущенно кашлянув, вынужден был прервать молчание:

— Я недооценил вас, простите. Но тогда мне тем более непонятно, как может в вас сочетаться это. . . И это. . . — Арт плавно махнул рукой вверх, потом широким жестом обвел кабинет. — Всю жизнь бороться с таким талантищем!

Он сокрушенно вздохнул и повернулся к двери.

— Постойте, — позвал Свидерский. — Передайте в ваше время, что мы здесь тоже ста-

раемся, хоть и не все умеем. И давайте я вам пропуск отмечу.

— Да что вы, какой пропуск? — Арт пожал плечами и вышел из кабинета через запертую дверь.

Свидерский прислушался, поглядел ему вслед, нервно потушил сигарету. Где же знать тому, кто сегодня еще не родился, что у главного инженера почти атрофировалось умение летать? Это здесь, в кабинете, фокус пока удастся. Привык к стенам. Как птица к клетке. Как белка к колесу. А на природе, сколько ни пробовал, ничего больше не получается, только ахиллесовы сухожилия растянул. Потому что кончился Свидерский. Отлетелся! Шестидесят три годика как-никак, из коих добрых полсотни лет отдано заводу. Судите-рядите, люди, а и впрямь сгорел на работе. . .

Юрий Петрович пригладил прилипшие к темечку волосы — блеснула под люстрой известная по портретам всему району чуть асимметричная, но вполне добропорядочная лысина. Нажал кнопку связи.

— Слушаю, Юрий Петрович, — немедленно отозвалась секретарша.

Вот. Еще слушают. Еще заглядывают в рот. А тайком уже присматриваются к работникам с иными задатками. Уже, наверное, и пальто надела, ждет не дождется убежать. . .

— Сегодняшнюю почту завтра подпишу. Можете быть свободны.

И совсем тихо, уже отпустив кнопку:

— Устал. . .

Он нащупал в кармане ключ, открыл замок, выдвинул ящик, тупо уставился на шевелящийся, едва различимый комок паутины, истекающий терпким сизым дымком. Вместе с газетой испарялся почему-то и текст главковского письма, по которому катался комок.

К своему удивлению, Юрий Петрович не кинулся спасать письмо из главка. Он вяло уставился на выцветавшие буквы, дождался полного побеления листа, с треском захлопнул ящик. Потом обошел кабинет, плотно задраил шторы, запер дверь. Хотел тут же взмыть, вытянулся в струнку, но передумал.

— Хватит на сегодня. Побережь себя надо. На самый последний в жизни полет.

На миг показалось, великое умение иссякло, он разучился летать, никогда не оторвется от земли. Минут пять Юрий Петрович не шевелился, прислушиваясь к себе. Вспомнит тело или не вспомнит? Поднимется или останется прикованным к зеркалу паркета, к ковру? Панический холодок бежал по жилам, и жжение под ложечкой разрасталось до катастрофы.

Неужели? Никогда? Никогда-никогда? Не полетит?!!

Как это говорила бабка Стешиха? Умение летать — как совесть. Либо есть. Либо нет. И с этим уже ничего не поделаешь.

Может, тысячи людей рождаются, чтобы летать. И умея летать. Но им никто пока этого не сказал.

А человеку ох как хочется летать!

А ОНА УХОДИЛА...

И близость далью обернется,
И даль нас вновь соединит.

(Р.-М. Рильке)

Она сидела перед ним пружинисто, не горбясь, сцепив руки на столе и смотря ему прямо в глаза. И все же чувствовалось, что тело ее сегодня ровнее и напряженнее, чем всегда, что смотрит она не совсем уж точно из зрачка в зрачок, а чуточку влево, в край брови, что сцепленные пальцы не прикрывают, а нарочно подставляют под взгляд обручальное кольцо.

— У тебя кольцо? — спросил он, уловив, как жаждет она этого вопроса.

— Да.

— Фамилию не сменила?

Она покачала головой.

— Наше знакомство тоже начиналось с кольца, помнишь?

Он-то помнил. Тогда как раз встречали космонавтов. Народ еще не привык к полетам, приезд героев в Москву, после благополучной посадки, собирал ликующие демонстрации. Командированный на столичный завод, Радик с удовольствием присоединился к заводским ребятам. Заводчан при выходе предупредили: «Держитесь плотно, чтоб никто не примазывался. Посторонних сдавайте старшим групп». И хотя улицы были полны, посторонних не было. Колонна внезапно останавливалась, так же внезапно прибавляла шаг, растягивалась, чтобы тут же сгуститься, то и дело перемешивалась, от души изображая бурное ликование.

Кроме ближайших соседей, Рад почти никого не знал. Его самого едва не выставили, хорошо, начальник сварочного цеха улучил минутку, вступился, а мог бы и не поспеть: девушки из конструкторского отдела окружили его и заставили плясать лезгинку. Рад прибил к двум девушкам, болтал, пел, расспрашивал о Москве. Пока одна из них не за-

метила вдруг на его пиджаке институтский значок:

— Ой, наше Адмиралтейство!

— Положим, не ваше, а мое, — возразил Рад. — Я из Ленинграда.

— Так я тоже.

— Разве вы не заводская?

— Говорю же нет. Я при подружке, она с завода. А мне очень хочется посмотреть.

— Ну, ленинградцам можно, — милостиво разрешил начальник сварочного, вовремя оказавшись там, где в нем больше всего нуждались, и нечаянно сыграв таким образом роль провидения.

— Что ж, давайте знакомиться. Рад.

— Я тоже рада.

— Нет, мое имя Рад. Или Радик, Радий. Но так я не люблю.

— Инка. Или Инна. Я по-всякому люблю, — представилась Инна.

Рад пожал девушке руку. И обратил внимание на кольцо.

— Что делать? — Всевидящий начальник сварочного снова оказался тут как тут и картинно пожал плечами. — Опоздал, брат.

Инна странно посмотрела на Рада и ничего не сказала. Вдвоем отправились гулять по столице, смотрели салют. Честно говоря, оба разочаровались: ленинградцы привыкли к подсвеченному контуру Петропавловки, к припудренным расплывающимся ракетным дымом мостам, к двум пышно расцветающим сполохам — в небе и в Неве. Красная площадь, со всех сторон уставленная домами, подобного эффекта не давала. Салюту не хватает простора: букеты разноцветных огней готовенькими взмывают из-за зданий и, не дожив, опускаются и сгорают где-то ниже крыш. . .

Инка с Радом сбежали с площади, долго бесцельно бродили по каким-то улочкам с цепочками дремлющих троллейбусов, по тупикам, по горбатым переулкам. Подъемы и спуски были опять-таки непривычны — мостовые Ленинграда лежат в одном уровне, лишь лестницы, взломав парапеты, шагают под воду, да разнообразят городские плоскости дуги мостов. . .

— У нас на каждом шагу каналы да набережные, — причитала Инка. — Хоть бы пруд какой. Или фонтан.

Спросили дорогу к Москве-реке. Трое прохожих показали три разных направления. Решили пробираться наугад, ни к кому не обращаясь. К мосту выбрались под утро. Ровная крытая линия конструкций подмяла берег, далеко отступила от воды. Тяжелые на взгляд фермы сходились в сплошной туннель.

— Обратил внимание, Рад? Женщина в метро приняла нас за молодоженов. — Инка счастливо рассмеялась. — Ты держал меня за руку, а она сидела напротив и ух как завидовала! Но знаешь, зависть добрая, теплая, я всей кожей ощущала. . .

— Ей, конечно, невдомек, что ты чужая жена?

— Естественно. . . Когда чужая, все гораздо быстрее и проще. . .

Как, еще быстрее? — подумал Рад. Суток не прошло. Проще — куда ни шло, это я согласен. Но быстрее. . .

Он догадался, что не временем меряется та быстрота, с которой люди находят друг друга, а чем-то неведомым, новым для него, ломающим все преграды и условности. Они с Инкой заглянули в иной мир, со своими масштабами и ценностями, и теперь осторожно и храбро обходили все, что могло снова отнять у них зыбкий, необходимый обоим союз. Это не походило на фатальность внезапно вспыхивающей связи чужих супругов. Он и сам однажды в электричке заглянул случайно в глаза молодой женщине и увидел в них такое огромное и естественное «да» — только сегодня и только для него одного! — что понял: пути их скрестились, еще до вечера они будут близки. Двадцать минут до города как раз хватило для знакомства, он не ошибся. Да и невозможно было ошибиться в том единственном случае, когда наперед знаешь, как все будет просто, легко и необременительно. Они сошлись и разошлись, не задев друг друга, не оказав никакого взаимного влияния, и больше никогда не встретились. Но в тот день не могли не быть вместе.

По закону соприкосновения, который Рад только

что придумал и вывел, их взаимопроникновение с Инкой было идеальным. Оно даже испугало его своей неожиданностью и полнотой. Вот жили до сих пор два человека порознь, один не подозревал о существовании другого. Однако случайность выбора, случайность встречи была predetermined заранее. Не какой-то там сомнительной судьбой, в которую все же все мы украдкой верим. А созвучием, сонастроенностью, особого рода обнаженностью, которая и проявиться-то может только от короткого замыкания друг на друга.

Рад искоса посмотрел на Инку. Она гулко ступала по мосту удивительно плавной, широкой и вместе с тем замедленной походкой, будто раскачивала мост своими шагами. Мост отвечал ей, льнул к ее ногам.

— Почему ты вспомнила метро?

— Туннель! — Инка махнула рукой вперед, на сходящиеся фермы.

— Эх ты, чужая жена! — Он поднес к губам Инкину руку, подышал на кольцо, чтоб оно затуманилось.

— Чудик. Не чужая. И не жена. — Инка рассмеялась. — Я ведь не замужем.

Вряд ли в этот момент лицо Рада сильно отличалось от театральной маски, воплощающей изумление. Наверное, поэтому Инка, не ожидая вопроса, постучала ногтем по кольцу:

— Это — чтобы мужики не липли. Между прочим, помогает. . .

Рад не стал разуберять ее, объяснять, что не всем, не всегда, некоторых, наоборот, поощряет. Придумала же себе защиту девчонка, а? Не хочешь — удивишься. Потом-то ему хватало поводов для удивления. Логика ее поступков отличалась непонятной ему мотивированностью, странностью, последовательностью выдумок. Требовалось усилие удержаться в рамках Инкиных истин, которым, впрочем, она легко подчиняла всех своих друзей и знакомых. Именно это и не давало Инке сделаться привычкой Рада. Едва ему начинало казаться, что он знает о ней все, она выкидывала очередной фокус и снова куда-то уходила-уходила. . .

Теперь, похоже, она уходила насовсем. Сцепленные на столе руки, золотая дужка кольца на пальце разделили их сейчас надежнее любых расстояний. И конечно же, не натуральным фактом замужества, в конце концов, Рад не был ханжой. Нет, просто чужое колечко, результат уже не липовой свадьбы, подвело итог их недолгой любви.

Когда Рад заметил неладное? Неужели в тот день, когда у Инки внезапно изменился почерк? До того дня она владела феноменальной скорописью. Нет, не стенографией, в стенографии он немножко разбирался, а какой-то невиданной системой: облегченное начертание букв плюс неуловимо быстрые движения пальцев. Строчки составляли мельчайшие синусоиды и петли одного направления, непривычные на бумаге, но все же доступные для чтения. Нормальный человек не забудет такого удобного письма и без повода не перейдет на громоздкий старый способ. А вот Инка перешла. . .

И все же насторожился Рад совсем не в тот раз, не после истории с почерком. В тот раз он принял Инкину «забывчивость» за ее очередной пунктик. А присматриваться начал, пожалуй, лишь открыв в ней так же внезапно прорезавшуюся, прямо-таки болезненную стыдливость: она до истерики стала бояться собственной наготы, и безобидная, вполне допустимая у других странность выглядела в ней ненатуральной. Ибо это не вязалось с Инкой, относившейся к своему телу немножко извне, как к хорошо знакомому произведению искусства.

Однажды, например, она мылась в ванной, закинув по обыкновению руки за голову локтями вверх и прислушиваясь к тугой, сильной, насыщенной воздухом струе душа. Рад знал эту ее привычку открыть настежь дверь и самозабвенно уйти в наслаждение. Вода не разбрызгивалась — прилипала к ее коже, прозрачной серебряной пленкой облепляла острые локти, подмышки, приподнятые движением рук груди. . . Почувствовав незнакомый взгляд, Инка открыла глаза. Посторонний мужчина умоляюще выдал:

— Ради бога. . . За мной гонятся пьяные. . .

Инка неторопливо задернула занавеску и, высувшись, показала пальцем задвинуть засов.

В коридоре затопали, слышались чьи-то полуразборчивые голоса:

— Где он?

— Федька сюда не забегал?

— Вылезай, гад, убьем!

Рад быстро выдворил дебоширов из квартиры (ну, Инка, широкая натура! И наружную дверь не захлопнула!), стукнул в ванную: «Не бойся. Какие-то ханурики по ошибке залетели!» Едва он скрылся в комнате, девушка велела несчастному Федьке убираться.

Много позже она со смехом описала Раду жалкого, дрожащего человечка, пересидевшего шум под раковиной. Что-что, а рассказывать Инка умела! Рад был потрясен: он, ни о чем не подозревая, гонялся по коридору, отстаивал территорию, а темная личность в это время была отделена от девушки лишь тонкой, декоративно замутненной занавеской.

— И ты даже не вскрикнула? Он же... Он же мог...

— Ну, что ты!

В этом была вся она — доверчивая и самоуверенная. Он долго мучился видением этой сцены, не прощал заочному обидчику нечаянного визита. Ух, попадись — точно б врезал! А Инка ничуть не изменилась — при полной иллюминации разгуливала по квартире голышом, мылась в распахнутой ванной, по-прежнему забывала проверить, заперта ли наружная дверь.

Смелость ее сломалась в один день. Инка начала всюду гасить свет, тянула на себя простыню в постели, кидалась прятать высунувшийся из неприхлопнутого шкафа чулок. Она не умела быть нарочитой, не умела притворяться. И если уж страдальчески переносила несчастье наготы, значит, страдала по-настоящему. Вот тут — именно тут! — Рад и понял, что Инка уходит.

Собственно, когда он окончательно сообразил, точнее, когда нашел в себе силы сказать себе об этом, Инки возле него уже не было, она ушла. То есть она, конечно, никуда не исчезла, не скрылась, не уехала, она была рядом, но так же далеко, как если бы они были не в одной квартире, а в разных

исторических эпохах. Ее глаза, руки, голос — все было почти ее. И все-таки Инки в этой женщине больше не было. Другая стала хозяйкой Инкиного тела, надела и носила присвоенное трудно, неловко, будто заново к нему привыкала. Рад с удивлением заметил, как отяжелели и оплыли книзу Инкины щеки, от этого Инкино лицо сразу как-то потеряло живую остроту и податливость.

Рад не мог смириться с потерей. Пусть не до конца, пусть с новыми странностями, но Инка должна к нему вернуться. Ведь что же такое получится на Земле, если ни с того, ни с сего распадется такая любовь! Да ему просто не прожить без Инки, вот не прожить и все!

Рад взял девушку за руки, усадил на диван. В комнате было сумеречно, по-военному громыхал телевизор, сотрясая комнату синим медицинским светом. Из-за окна сквозь едва опущенные ветки тополя просачивалось холодное небо.

— Ну, давай поговорим, хочешь?

— Давай, — безразлично согласилась Инка.

Уже в самом этом безразличии незримо присутствовал страх, как он присутствует в неосвещенной улице и в бьющем полночь колоколе на старой кладбищенской часовне. Раду подумалось, если Инке удастся перешагнуть через страх, то она не уйдет.

— Объясни, что случилось?

— С чего ты взял? По-моему, все нормально.

— Я же вижу. Что-то тебя мучает.

— Оставь. Все хорошо.

— Инка, родная, посмотри мне в глаза. Ну, в чем дело?

Она быстро скользнула взглядом по его лицу и отвернулась. Этого оказалось достаточно, чтобы Рад осознал свое бессилие. Инка неотвратимо уходила из его жизни. И с этим ничего не поделать. Как ни стискивай пальцы, не удержишь воду в ладони. Инку тоже не удержать. Она истекала из него, как вода сквозь пальцы, как песок в колбочке песочных часов. Рад старался закрыть собой все щели мира, но она уходила. . .

Он попытался спасти разговор:

— Помнишь, как нам было хорошо вдвоем?

В словах этих не было ничего задевающего. Но Инка почему-то вдруг взорвалась. В прежние времена никакие «вдруг» в ней его бы не удивили. Но сейчас даже переходы настроения были редки. Инка покраснела и выбрасывала слова слепо и постронне:

— Что ты в душу лезешь? Думаешь, если я простая, а ты с вывертом, так и смеяться можешь? Да, помню! Отлично все помню! Каждую твою ласку, каждое прикосновение. Губы твои помню, дыхание. За руками б твоими на край света побежала, только помани. Да ведь ты же не меня во мне любишь. Я к своему телу прислушиваюсь — и не верю ему: как оно тебя знает и зовет! А я-то где все это время была? Кого ты по ошибке во мне высмотрел? Отчего я все помню, а как будто заново к себе примеряю?

— Инка, милая, пустяки все это. Тебе показалось.

— Ну да, я понимаю, я дура. Но не такая, чтоб не разобрать. Ты совсем другую во мне потерял. Разглядываешь меня, а ее не находишь. Я тут прочитала, иногда у человека раздваивается сознание. Будто в нем двое живут, не догадываясь один про другого. Может, и у меня так?

— Допустим. Ну, и что?

— А то. Шизофрения это, понял?

— Понял. И ладно. И плюнь. Думай лучше о нас с тобой.

— А если я понять хочу?

— Так понимай быстрее. И пусть все вернется.

— Чудик! Ничего уже не вернется. Я не могу, чтоб ты ласкал меня, а думал о другой. Я ведь люблю тебя. Потому и не могу.

— Тем более перетерпится. Ну, давай пождем?

— Нет, миленький. Не пересидеть нам. Зажмуриться и уйти от тебя — последнее, что я еще могу. Хочу с тобой быть. Очень хочу. Но не выходит.

Непримиримость и ревность вызвали на ее щеки злые и одновременно кроткие слезы. А Рад вспоминал слезы той, прежней Инки. В Концертном зале они слушали «Рябинку» в исполнении «Поющих гитар». По неожиданной напряженности позы, по не-

подвижности ее ладони он почувствовал, что Инка плачет.

— Ты что, ты что? — заволновался Рад.

— Так просто. Мне очень хорошо.

— Чего ж ты плачешь?

— Не знаю. Они сами текут.

И тихие слезы катились и катились по ее щекам.

Рад и теперь, как тогда, попробовал губами осушить ее глаза. Инка вырвалась:

— Оставь. Хватит. Ухожу.

«Куда?» — Рад хотел спросить. Не спросил — сама догадалась.

— К Шамарину. Он сказал, будет ждать.

И прежде, чем Инка договорила, Рад понял, что это уже навсегда. Не из слов. Не по выражению лица. Даже не по тому, что Шамарин до их знакомства ходил в Инкиных женихах. Рад ощутил Инкин уход по тому, как замолчали вокруг вещи.

Инка умела их разбудить. Она подходила к стеллажу, и стеллаж горделиво выпячивал полки, блестел стеклами, напрягал потайную дверцу, где за наклеенными корешками энциклопедий скрывался крошечный бар. Под ее руками распахивались на нужных страницах книги. Завидев ее, обеденный стол делал навстречу галантный мужской шажок, старенький диван изгибался и вытягивался у ее ног, как привычный к седлу семейный сивка-бурка, а когда Инка садилась, прикивал к ней и что-то мурлыкал ослабевшими пружинами, улыбался во всю ширину раздавшейся по шву обивки.

Теперь вещи снова застыли, как им и положено, не признавая этой новой женщины в своей Инке. Диван стал как диван, с выцветшей спинкой, с торчащими из лопнувшего шва нитками и скрипучими пружинами, которые Рад давно уже собирался перетянуть. Понурились книги. Незряче глядели стекла стеллажа.

Рад выскочил из квартиры и пошел по весеннему городу, не оглядываясь и не ожидая оклика. Он знал, что оклика не будет, потому не спешил. Тополя развесили прозрачную, едва проклюнувшуюся листву, про которую всегда хотелось сказать «стеклянный дым». Правда, Есенин задолго до него уже назвал

так женские волосы. . . Каждую весну Рад пытается уловить момент, когда прорезавшаяся почка превращается в лист, и каждый раз запаздывает. За день-другой теплого мая зеленый дым внезапно становится взрослой листвой. Тайна такая же непостижимая, как пути, по которым люди встречаются и расходятся.

Рад вынул из кармана Инкин подарок, маленькую плоскую ракушку. Инка говорила: «Послушай, море шумит». И Рад слышал море. Инка говорила: «Послушай, о скалы песок ударяется». И Рад слышал беззвучные посвисты ветра и шорох просыпанной на скалы горсти песку. Инка говорила: «Послушай, через два дома от нас Равеля играют». И Рад слышал повторяющиеся и беспрерывно новые завитки равелевского «Болеро».

— Что ты мне скажешь, бедная раковинка?

Рад сказал это вслух, идущая навстречу девушка в цветастом брючном костюме отшатнулась, перешла на другую сторону улицы. Рад сунул ракушку за ухо — она с тихим чмоком присосалась к виску. Из легкого прибойного гула выделился смущенный Инкин голосок:

— Тебе все-таки плохо без меня? Вы с ней неладили? Вообще, конечно, это несправедливо. Но я рада. . .

Рад оглянулся. Улица была пуста. Дунул ветер, наклонившиеся в одну сторону деревья показались странно неподвижными. Как при вспышке молнии.

— Не удивляйся, Рад, это действительно мой голос. Поющие ракушки здесь имеет любой из жителей, мы называем их «шептунами». Ты слышишь меня потому, что хочешь услышать, что сейчас я нужна тебе. Я думаю, что нужна. . . Извини, это все, что я смогла оставить тебе на память.

— Инка! — закричал Рад.

— Погоди, милый, я объясню. Представляю твою физиономию — несчастную и растерянную. Я бы очень хотела вернуться, Рад. Хотя бы для того, чтоб еще раз тебя поцеловать. Но это невозможно. Слушай.

Я, Рад, преступница. Я хотела доказать всем в нашем времени, что открыла обход Ограничения Лаза-

рева и могу путешествовать в прошлое без опасности на него воздействовать. Ведь если я поселюсь в теле человека, живущего в вашем столетии, я не смогу натворить ничего такого, до чего не дошел бы он сам, собственными мыслями. Даже если я что-нибудь ему внушу, он сделает это своими руками, и будущее останется в стороне.

Я нашла Инку. Если б ты знал, как она кричала и билась во мне! Она притихла лишь после того, как мы встретили тебя. В языке нет таких терминов, придется говорить о женщине с одним телом и двумя душами во множественном числе, ты уж привыкни, родной, ладно?

Сначала мы обе даже помирились на тебе. А потом — стыдно вспомнить! — закрутились распри. Ты, конечно, ничего не замечал. Наверно и не стоило тебе говорить, ты неустойчивый, ранимый. Та Инка ничего бы тебе и не сказала, потому говорю я. Мы ревновали друг к дружке — обыкновенно, мелко, по-бабьи. Не зная еще, кто у кого тебя крадет, мы пихались локтями внутри одной оболочки, вели себя как в коммунальной квартире. И если б сумели — прости меня! — повернулись бы тылом и показали одна другой задранный подол — это из детства той Инки, твоей современницы, так тогда ругались или бранились, я не поняла, в чем разница. Но не думай, я тоже хороша! Ты сейчас морщишься от презрения, но я не хочу ничего скрывать. Не при-выкла. . .

Видишь, кое-чему я у вас выучилась. Я знаю про коммуналки, про то, как ругаются (или бранятся?) домохозяйки на общей кухне. Наше тело — одно на двоих! — и было этой самой коммуналкой. Конечно, я не только это унесла из вашего времени. Да и та Инка, поверь, не осталась с чем была. Каждая из нас немножко пожила за двоих. Но сейчас речь о другом. Инка вашего времени изощреннее, сильнее меня. Она умеет бороться за земное счастье, а мы к этому не приучены: нам счастье дается слишком легко. Разумеется, я смогла бы притушить Инкино сознание. Временно или навсегда. Но это означало бы убийство. Даже хуже убийства. .

Инка в ракушке сделала паузу, точно переводила

дух, и Рад с ужасом подумал, что все ему снится. Он вынул ракушку из-за уха — тоненький голосок немедленно умер. Снова присосал к виску, уловил едва ощутимую равелевскую мелодию.

— Инка! — закричал он, боясь ее больше не услышать.

— Чего орешь? — раздался над ним добродушный бас, и из окна бельэтажа высунулся бородатый гражданин в подтяжках поверх нижней рубахи. Едкая бородавка оказалась единственным украшением его безоблачно обритой головы.

Рад шагнул от дома, успел уловить обращенные в глубину комнаты слова:

— Наверняка опять к этой конопатой с третьего этажа. . . Новенький, ни разу еще не появлялся. . .

Рад притиснул ладонями уши, с силой, до боли, вдавил ракушку в висок. Волной плеснули последние звуки «Болеро», оставили Инкин голосок:

— Я историк, Рад. Мое путешествие полезно для науки. Но теперь меня никуда не выпустят из нашего времени. Я посягнула на свободу человека, на Инкину личность, допустила утечку вещей из нашего века, я имею в виду «шептун». В общем, я преступница, Рад. Может быть, люди моего времени от меня отвернутся. Но жалею я лишь об одном: что никогда тебя не увижу. Это слово «никогда» для меня еще страшнее, чем для вас: ведь я буду жить на свете тогда, когда никого из вашего столетия уже не будет. Никого. Даже тебя и той Инки. Даже тех, кого мы приветствовали на демонстрации. . .

Мы у нас привыкли к всесилию. Мне было больно, когда меня вытесняла из прошлого простая, не очень далекая девчонка. Но ты думаешь, потому я ушла? О нет, я бы держалась! Но я забыла про закон противодействия: прошлое стало влиять на будущее. Я не заметила, как это произошло, боялась вернуться к себе мстительной, толкающейся, ревнучей — такой, какой меня сделала борьба за тебя. А еще больше боялась не вернуться вовсе. Потому что я очень тебя люблю, Рад. Очень!

Я рада, что у тебя ничего не вышло с той Инкой — если бы вышло, ты бы сейчас меня не слушал. Прощай, милый. Жаль, «шептун» не передаст от тебя ни

словечка. Но если я нужна тебе, если сильно захочешь, то сумеешь сделать так, чтобы я услышала. И я, может, приду опять. В своем теле. И навсегда. А пока прощай. Целуй Инку — все-таки она славная девушка. Я сделала так, что она не знает про меня, не помнит нашей «коммуналки». Ты ей тоже не говори, ладно?

Не скучай без меня. Или нет. Скучай. Сильнее. Еще сильнее. Вот так. . .

«Шептун» щелкнул и перешел на последние известия. Обыкновенные известия из нашей сегодняшней Москвы.

И вот Инка сидит у Рада в квартире, в том же самом платье и в той же позе. Но **ее, той**, нет в этом знакомом теле. Почти не о чем, да нет, на самом деле не о чем разговаривать. И не о чем молчать. Оба еще радуются встречам, оба ничего не забывают. Но время, не задев памяти, проложило между ними тот же неумолимый предел, который чуть раньше разлучил их с **той, его** Инкой. Рад ревниво ищет в этой хоть проблеска Инки из ненашего века. Смотрит на ее пружинистую посадку, на окольцованный палец, ждет, что вот-вот Инка раскроется, засмеется, заговорит языком будущего, на который одинаково охотно отзываются и люди, и вещи. Но чуда нет. И ракушка на виске привычным Инкиным голоском шепчет: «Я, Рад, преступница. . .»

— Значит, фамилию не переменила?

Она покачала головой.

— Счастлива?

— По-моему, да.

— Ну, привет Шамарину. Скажи, загляну на днях. Договорились?

Им нечего сказать друг другу. Зато Рад знает, что скажет **той** Инке, когда она вернется.

Он встал, пожал протянутую руку, и Инка поморщилась — он опять забыл про кольцо. Он этого почти не заметил, он думал о том, что вот, две женщины с одним телом и двумя душами по-разному любили его, и обе ушли. Именно потому ушли, что любили. А ему от них не уйти никогда.

Рад любил свое будущее будущее. Любил эгоистично, с привязанностью к своему настоящему,

которое для кого-то уже давно стало прошлым, любил так, что оно не могло не вернуться. И он знал, как ему позвать **ту** Инку.

Он не знал только, какими путями люди встречаются и расходятся.

Одно не дает покоя: вдруг кто-то уже опередил Инку, тоже научился подселаться в чужие тела? Вдруг кто-то сидит сейчас в нем, смотрит на все его глазами, сигнализирует туда, в будущее? Вдруг. . .

Ну, и на здоровье, товарищи потомки. Приходите. Селитесь. Глядите.

Нам себя стыдиться нечего. . .

ИЩУ СЕБЯ

АВАРИЯ

Не трожь человека, деревце,
Костра в нем не разводи.
И так в нем такое делается —
Боже, не приведи!

(А. Вознесенский)

Шоссе было чисто выметено воздушными подушками скудов. Лишь случайно занесенный ветром листок иногда запутывался в мантии, долго полоскался в ее бахrome и с сухим щелчком вылетал с задней струей. Скуд обтекаемо шелестел над лентой глазурированного асфальта, и только лезвия крыш среди деревьев, убегая, неназойливо напоминали о скорости.

До Гатчины смотреть было не на что: размытые черно-белые вертикалки леса подступали близко и однообразно, как полосы декоративной «ландшафтной» ткани. Чтобы отделить березы от сосен или выхватить один какой-нибудь ствол, Арсен быстро переводил глаза, а потом давал взгляду отстать. Но и это развлечение вскоре наскучило. Арсен отвернулся от дороги, в который раз за сегодня извлек из папочки дроботовское письмо. Ох уж этот Петр Дроботов! Сумел-таки дернуть какую-то струнку в душе. А кажется, ко всему уже привык, не расшевелишь. . .

Неожиданно скуд взвизгнул, ткнулся брюхом в шоссе. Толчок швырнул вперед, упругое лобовое стекло без удара натянулось, бросило обратно на сиденье, и некоторое время еще Арсен ошеломленно тряс головой. Шофер Коля вышел, каблуком постучал по кожуху компрессора. Приподнял мантию, под которой бессильно шипела слабенькая струйка воздуха. Сплюнул.

— Все. Счис.

— Долго простои́м?

Коля сдвинул кепочку на затылок, губами достал из кармашка на груди узкую бездымную сигаретку, повернул на луч стеклышко солнечной зажигалки:

— За последний год, Арсен Даурович, я имел две

пятиминутные аварии. По теории вероятности, эта часа на три.

— А ты знаешь, куда мы едем?

— Вас, наверно, женщины любят, шеф?

— С чего ты взял? — опешил Арсен.

— Не мучаетесь избытком тактичности. Плохой бы из меня получился шофер, если б я был не в курсе дел своего начальника.

— Ты мне этот психологический практикум брось. Признавайся, сколько стоять будем?

— Законы статистики неумолимы, Арсен Даурович. Но за сорок минут, пожалуй, управлюсь.

— А что я скажу Дроботову?

— Подождет ваш Дроботов, больше ждал. Прогуляйтесь вдоль шоссе, пока я мотором занимаюсь. Подышите загородным воздухом. Засекайте время!

«И правда, чем здесь маяться», — вяло согласился Арсен, ступив на стеклянню блестящую полосу глазурированного асфальта. Коля включил домкраты, аккуратно расстелил куртку и полез под скуд. Ворчание его еще некоторое время догоняло Арсена:

— Не понимаю, за какие грехи машину колес лишили? Раньше спиной уперся — и катись, милая! Под горку еще б придерживать пришлось. Прогресс, туды его в мантию. . .

Шоссе по веселому пологому мосту перебежало извилистую речушку, удачно отвечающую своему певучему названию Оредеж. Колин говорок становился все более неразборчивым. Солнце, отражаясь от асфальта, слепило глаза. Только теперь заметив, что так и несет письмо в руке, Арсен сунул его в карман, разулся, поставил босоножки на обочине так, что их нельзя было не увидеть из скуда, спустился по откосу. До самой травы ногам было непривычно колко, и, выбирая место для ступни, он шагал осторожно, не в полную силу. Берег был похорошему заброшен: сухой невытопанный склон издалика валился в реку, вспенив перед кромкой воды неширокую полосу ослепительно чистого песка. Вверху удрученно обозревала местность привязанная к колышку коза.

Поддернув брюки на коленях (скорее по старой

мужской привычке, чем из боязни вспузырить немнущуюся ткань), Арсен уселся на траве. Над головой закружились две желтые бабочки-капустницы и одна траурница с черной каймой на крыльях. Подражая взмахам крыльев бабочек, задрожали перед глазами листья тощей осины.

— Чего дрожишь, глупая? — помимо воли спросил Арсен. И поморщился, уловив в интонации фальшь.

Собственно, если б осина не дрожала, он вообще не признал бы ее, не отличил от тополя или там от липы. И это — невзирая на должность: референт по общим вопросам Ленинградского комитета Природы. Впрочем, чему удивляться? Как и все горожане, он только по выходным вырывается на волю и торопливо восхищается: цветочки, воздух! А воздух теперь и в городе степью отдает, дыши — не хочу. Усилиями их комитета гарь и пыль повыветрились с улиц, из двигателей изгнан бензин. Заводы работают на замкнутом цикле, без выброса отходов в окружающую среду. Памятником варварским технологиям оставлены две дымовые трубы с мертвыми заглушками: по праздникам для имитации работы из них гонят в облака подкрашенный пар. Конечно, до взморья или до соснового бора городу далеко, пахнет все-таки перегретым камнем. Но всему свое время. Наладим и озоновую атмосферу. Вот освоим в следующем году хлорофилльные краски для стен, тогда и с сосновым бором потягаемся. Переезжай к нам, Петр Дроботов, не пожалеешь. Хотя ты ведь не захочешь из деревни, а?

Осина застенчиво поджимала к стволу реденькие ветки и продолжала дрожать.

«Зря, глупая!» — неожиданно для себя чужими словами подумал Арсен. Больше того, чуть не произнес вслух. И еще подумал, как хорошо лежать под пристальным серо-синим небом, вспугивать разноцветных стрекоз и следить за их чуткими зигзагами. А ведь не довелось бы, не будь счастливой аварии со скудом, а еще раньше — дроботовского письма. Может, и не стоило сломя голову мчаться на этот сигнал, тем более с уговорами отказаться от претензий. Но ведь жалобщики, как правило, на

одной инстанции не останавливаются. Настырный народ!

Арсен мысленным усилием вызвал из памяти сний конверт. Конверт как живой возник перед взором. На лицевой стороне картинка: с вершины низкого наклонного постамента возносится настоящий истребитель-перехватник, давно отлетавший свое и списанный по случаю всеобщего разоружения в лом. Из кабины истребителя выглядывают две счастливые детские мордашки: к безмерному восторгу ребятешек, самолеты не уничтожают, а пускают на игрушки, вон их даже почтовики увековечили. Рядом с яркой картинкой адрес не смотрелся. Крупными буквами, мельчающими и изогнутыми у края конверта вниз, было выведено: «Ленинград. Смольный. Главному специалисту по лесам и живности». Это, значит, ему, Арсену. .

Ленясь вынуть письмо из кармана, Арсен так же мысленно раскрыл конверт, достал вырванный из школьной тетрадки листок в клеточку. Тот же почерк длинно и чуть истерично вещал о том, что «председатель колхоза Громов Олег Михайлович придумал покрыть поля бетонной сеткой, соединить с правлением все бригады, Дунькину фабрику и хренные палисадники и приобрести 50 винтороллеров. Чтоб все перевозки делать только по воздуху. А на саженцы древовидной конопли ему наплевать, и на юннатский кротовый заповедник тоже. А особенно жаль рябинку, посвященную героически погибшему гвардии рядовому Кузьминичеву, и ту березку-трехстволку, которую мы еще мальками сажали с Машей Тениной и Горькой Коноваловым. Но самое главное, бетон начнет почву выжимать, деревья и кусты заоблачат, оголят корни и пожухнут. Председателево сердце не болит по всякому растению и летучести. А они тоже для красоты настроены. .

Остаюсь ваш Дроботов Петр Иванович, звеньевой».

И снова — в который раз! — Арсен разозлился. Ох уж эти неумные общественники, вечно суют нос куда не просят! Хорошо еще, планы председателя не затронули личных соток защитника природы. Так

и представлялись коренастый чистенький дядька с тлякой и ведром навоза в руках, тропинка, протоптанная им с лукошком собственных овощей из огорода до базара, бетонная сетка поперек этой тропинки. Ох, шуму б было!

Председателя Громова Арсен знал отлично. Громадный, громкий, подвижный, несмотря на необъятную толщину и выдающийся живот, пройдоха и умница, потомственный руководитель богатого хозяйства, он своей выгоды нигде не упускал. Странная купеческая жилка помогала ему разглядеть то новое, что приносило колхозу немедленный безошибочный доход. Он шумно ввалился в кабинет Арсена и по обыкновению не сразу приступил к делу:

— Премию получил для поддержания штанов. Три оклада. — Олег Михайлович расстегнул пиджак, поправил тщательно замаскированные подтяжки и плюхнулся в кресло. — Ездил за подарком сыну, решил и к тебе заглянуть. Между прочим, интересную штуковину раскопал. Глянешь? Новый побег эволюционной мысли.

Громов расстелил на столе свой «побег»: проект перевода колхозной техники на воздушный минитранспорт. По ватману красиво порхали крылатые потомки мотороллеров: портативные тракторы, планирующие тележки, гусиные клинышки дельтакомбайнов. Поля были разлинеены росчерками взлетных дорожек, будто тетрадь в клеточку. Столбики черных и красных цифр освещали затраты и выгоды, при этом красные горделиво выпячивались, черные стыдливо тушевались из-за своей незначительности. . .

— Заманчиво. . .

— Еще бы! Визируй, — пропыхтел председатель. — Все уже одобрили.

Это значило, подпись референта последняя, договора заключены, поставки налажены, не сегодня-завтра можно форсировать строительство, и вообще визит Громова — лишь дань вежливой формальности.

Арсен на уловку не поддался. Внимательно всмотрелся в проект, вопросительно постучал ногтем по двойным серым линиям бетонных меж. Эко-

номическое обоснование преимуществ винтовой кавалерии выглядело на редкость изящно и убедительно. В свете предстоящих удобств не пугали и межи на посевных землях. Впрочем, другого ожидать не приходилось: бухгалтер у Громова мужик дотошный, считать умеет, зря на ветер средств не выбросит. Одна его фамилия Хапугин наводит страх на прожекторов. Поэтому проект Громова был, что называется, чистенький, выгодный и перспективный. Не найдя особых выпадов против природы, Арсен размашисто подписался в верхнем правом углу. . .

Письмо Дроботова ставило все с ног на голову, рождало смутное беспокойство. Настораживали даже не наивные аргументы, а фальшиво-агрессивный тон. Арсен подумал-подумал. И махнул в колхоз. Чуть ли не впервые он ехал не расследовать жалобу, а убеждать жалобщика в правильности собственного решения. «Если, конечно, оно правильно», — выскочила исподтишка ехидная мысль.

За Оредежем сушилось присобранное в копешки сено. Тот берег был высок и обрывист, в слоистых узорах багровых глин, с темными провалами пещер, уходящими под воду. А здесь жили осина, коза, крохотный жучишко неопределенного от изумрудных переливов цвета раскачивался на тоненькой былинке. В общем, ненаблюдаемая из окна кабинета природа!

Арсен подогнул руку и тихонько повалился на бок. У самых глаз раскинула круглые, с зубчиками, листья пастушья манжетка. На Украине ее называют калачиком. В детстве они дожидались, когда зеленые колокольчики отцветут, и поедали безвкусные лепешечки. Чем только в те годы ни набивали рты! И не от голода, упаси боже! От слитности с природой. Жевали цветы акации. Сосали головки молоденького клевера — кашку. Скусывали прямо с вишневых стволов потеки солнечно-золотистого клея. Ели даже дудки молочая, если долго крутить их между ладонями и приговаривать:

Молочай, молочай!
На меня ты не серчай!
Горький вкус — корням!
Сладкий сок — друзьям!

Арсен пощекотал губы узким мохнато-бархатистым листком, растер его между пальцами, побил ими друг о дружку — склеятся или нет? И поднял глаза. Солнце с гребня на гребень скакало по волнам Оредежа, растекалось поперек течения, тонуло под мостом. . . Осина изнемогала от зноя или страха. Коза, не заинтересовавшись его личностью, отвернулась и обметала горизонт грязно-белым хвостом.

И на все это с казематной беспощадностью ляжет непробиваемая для жизни бетонная броня!

Загипнотизированный ожиданием чего-то нового, еще более непривычного, Арсен без сопротивления перекатился на спину, встретил немигающий, мраморно-слепой зрачок огромного неба. Осиневая крона просеивала солнце. Тени листьев, выпукло-объемные против света, сбегались и в падении склеивали теплые золотые пятнышки, тут же просыпали их бархатными лучами. Лопатки — из-под земли, сквозь рубашку — тоже жег чей-то мудрый и загадочный взгляд. Тягучий ветер отогнул ветку. В лицо обрушился ослепляющий веер зноя, пробился искрами под сомкнутые веки, слился в черный круг, окаймленный переменчивыми радужными полосами, круг разделился на два — по одному на каждый зажмуренный глаз — и поплыл-закачался парой медленных черных солнц. Тяжелый шепот отделился от земли. . .

Арсен внезапно осознал, что стоит перед широким приземистым дотом с незрячими бойницами и тонким налетом мха по бетонному козырьку. Уж как там оно получалось, но он ясно различал надписи внутри дота. На осклизлой стене виднелось процарапанное острым: «Мы из Архангельска. 1966». Ниже, не под строчкой, а в толще бетона, словно утонув в нем, торопливым огрызком химического карандаша: «Осталось 3 патрона. Вася Цыбин». От дота с неодушевленной правильностью стелились во все стороны щупальца взлетных дорожек, глубоко врезаемые в тело земли как нити капронового невода на обнаженном, со вздутыми мускулами человеческом торсе. По дорожкам, животами в руль, мчались на крылатых винтороллерах десятки Громовых — мимо вставшей на цыпочки

древовидной конопли, мимо березок-тройняшек, мимо исхудалой женской руки, которая оползала по осклизлой стене, впиваясь в бетон побелевшими ногтями: неровные светлые крапинки на них почти пропали, лишь кое-где едва угадывались. «К счастью, — подумал Арсен. — Говорят, ногти цветут — к счастью. . .»

Блики черного солнца протиснулись под потолком, серыми полотнищами выстроили невесомые тени. Грустное и неподвижное, несло навстречу прозрачное Ольгино лицо. Тяжелые зеленые волосы слегка шевелились — как пугливые листья на ветру.

Арсен сделал шаг вперед, чтобы подхватить женщину. Он прекрасно осознавал, что Ольга давно умерла, что эта женщина, зябко кутающаяся в длинный, до земли, балахон, просто выдумка, удар взбесившегося воображения. Но она вполне реально потянулась к нему:

— Ты очень сильно просил меня. Вот я и пришла.

Он не взял ее временно оживленных рук, отшатнулся. Всеми чувствами, не поверившими зрению, он хорошо представлял себе, что именно за эти годы могло от нее остаться. . . Она укоризненно вздохнула:

— Ты всегда твердо знал, когда и что надо делать.

Арсен глянул на ее ноги. Прямо сквозь балахон. Как во сне. И увидел босые, зябко потирающие один другой корни. На одном из них снеговым пятнышком застрял белый клочок облака.

. . . В Никитском Ботаническом саду, среди араукарий и бородатого тисса Ольга тосковала по тихим северным полянам, где колючий для взгляда вереск выстилает подступы к березам и валунам. Она хваталась за простертые к ней руки агав — и натывалась на толстокожие, равнодушные, глянцево-жирные листья. Врачи прописали ей юг, а она карабкалась в горы, бросалась в щедрые травы альпийского луга — и не могла отыскать среди пышных труднопроизносимых рододендронов щемяще-неприметные, такие пушистые на слух горечавку, яснотку, кровохлебку, чьи названия сами просились на язык и, произнесенные, оставляли во рту вкус простой радости и детства. . .

Ольга мужественно переносила море и пальмы. И все же таяла на глазах — взвинченная и всепрощающая. Это было особенно больно в ней. И безоруживало. Только однажды она не упрекнула, нет, — просто между прочим обронила:

— Зачем ты привез меня к этим фикусам? Здешнему лесу плевать на человека. Он за меня не заступится.

И, высвободив ногу из больничного шлепанца, потерла ее о другую движением неуловимо-обыденным и в то же время самым-самым своим. . .

Арсен в обратном порядке повел глаза от босых корней к Ольгиному лицу, к зеленым с проседью волосам. И это лицо, живые нити волос показались ему знакомыми. Не той давней памятью, привычной к каждой Ольгиной черточке, а как-то еще, по-другому, что примешивалось и добавлялось к ее образу чем-то неуловимым после ее ухода, недосказанным, чуть ли не чужим. Понимая, до чего это глупо, не вкладывая в свои действия ничего мистического и тем не менее стараясь быть последовательным в своей галлюцинации, он перекрестил призрак раз, другой, третий, так по-сказочному доверчиво и сокрушительно, как заклинают нечистую силу. Ольга не стояла, не исчезла. Он судорожно положил еще два креста, за сухую жесткую руку рванул ее в дот, навалился на дверь, задвинул щеколду. И дот стал не совсем дот, а комната с окнами, к которым приникли снаружи жалобные ветви-руки. Странные существа призрачного сине-зеленого оттенка жадно стучались в стекла. И Арсен узнавал их: загубленные людьми деревья, что минуя волю, подсознательно мучают нас беспричинной тоской. . . Они пытались спастись от загустевшего неба. От движущейся толчками по циферблату пшеничного поля, заточенной под секундную стрелку авторучки: кончик пера натягивал врезающиеся в тело земли шершавые бетонные нити и выжимал из почвы зябкие неловкие корни. Разбрызгивая шлемами блики черного солнца, осыпая животами листья с трепещущих осин, по лучам взлетных дорожек к доту со всех сторон приближались Громы, Громы, Громы. . . Арсен плавно ото-

двинул щеколду — и глухая бетонная симметрия сломалась. Он долго-долго падал навзничь, пока не коснулся спиной живого ковра из пастушьих манжеток и горечавки. Ритмичная лунная медлительность пронизала его насквозь, перетекла через лопатки в землю. Свисающая над щекой ромашка защеко-тала ресницы, ослепила нестерпимой желтизной. . .

Арсен открыл глаза, зажмурился от выпрыгнувшего из-под листа солнечного зайчика. Круг черного огня над головой успел вызолотиться и расплавить половину неба. Вторую его половину, опираясь на край косогора, неторопливо обметал грязно-белый козий хвост. Лес подобрался и притих. Все как-то изменилось — в характере, а не во времени. Потому что кадры воображения, спровоцированные лесом, привиделись Арсену мгновенно и непрерывно, как тепловой удар, — даже секундная стрелка на часах, нечаянно подсунутых к уху, не обежала циферблат и на четверть. . .

И все сразу стало на свои места. И не существовало больше общественника с тяпкой и ведром навоза, а был заботливый пионерский звеньевой Петя Дроботов, певец древовидной конопли и березки-трехстволки. Надобно заметить, Петя, никудышный ты, по нынешним меркам, полевод: что тебе экономика, ежели от этого страдает кротовый заповедник?! Потому, видать, и истерика в письме: взросло рассудительный и детски агрессивный тон. Спасибо, брат, за науку. И не обижайся, что не доехал, из города я быстрее твоего председателя остановлю. В другой раз непременно встретимся. Извини.

А нам с тобой, Олег Михайлович, придется покумекать. И как это я сразу не разглядел? Ведь были уже на Земле такие «мечтатели» — распахать сушу, свести леса, застроить плавучими домами и нивами океаны. Чтоб быстрее, сытнее, урожайнее. . . Будто главное для человека — дешевая жратва. Шалишь, председатель. Вон юному поколению и березку подай. И почву оно глубже нас понимает. И красоту наверняка иначе чувствует, не приемлет простора в бетонную клетку. . . Пусть будут винтороллеры, летающие тракторы, подоблачные комбайны, только без бетонных меж. Без непробиваемой для жизни

брони. Придется, Олег Михайлович, поломать голову, ты сумеешь. И без дураков — не каждый день скуды терпят аварии. Хотя что ж, откажет или не откажет вовремя мотор, неважно: всегда найдутся осина, изумрудный жучок и обеспокоенные люди. Мы, сегодняшние, в ответе и перед старыми и перед юными. За живность. За летучесть. За все, что на красоту настроено.

Как порою немного надо, чтобы это понять.

Арсен достал письмо, аккуратно разорвал, пустил по ветру обрывки и вскочил так резко, что коза удивленно проблеяла:

— Мне-э-ээ?

— Останется и тебе-э-ээ! — озорно предразнил ее референт Ее Величества ПРИРОДЫ.

Он погладил теплый ствол осины. И решительно вышел на шоссе. Не принимающий солнечного жара глазурированный асфальт жался к лесу. К тому самому лесу, который мог за себя заступиться. Пахло хорошей хлорофилльной краской и совсем немножко — речным песком.

Арсен подхватил босоножки, пристукнул каблучками по перилам моста и неторопливо зашлепал к Ленинграду.

Коза натянула веревку, вырвала колышек и затрусила следом.

Я+Я

— Извините, что я перед вами в натуре. . .

(Н. В. Гоголь. Повесть о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем)

Самое сложное, пожалуй, было пройти Киву — Кибервахтера, блокирующего вход после двадцати трех ноль-ноль. Училищное начальство так верило в Кивину непогрешимость, что начисто исключало возможность курсантских «самоволок». Разумеется, мы их не разубеждали.

Я поставил указательный палец против кнопки звонка и скосил глаза на Толика, распластавшегося вдоль ящика с аппаратурой, — лишь невообразимый Толькин рост и талант экспериментатора помогали нам использовать каприз электронной схемы.

— Готов! — сказал Толик, и я позвонил.

Отсчитав одному ему известный такт, Толик трахнул ногой так, что загудело все Кивино металлическое нутро, и тотчас нежно шлепнул ладонью. Под кожухом застрекотало, как у старинных часов перед боем, раздался двойной щелчок, и створки раздвинулись. Фотоопознаватель — гроза нарушителей режима — сработал вхолостую.

— Очень чувствительное реле! — самодовольно воскликнул Толик, переступая невысокий комингс. — Опять завтра богу электроники Церу Сергеевичу бегать взад-вперед по вестибюлю, раскладывать платы Кивиных потрохов и причитать: «Диод его знает, отчего все время белые сигналы выдаются!»

Обнявшись, мы двинулись вверх по лестнице, импровизируя на ходу:

Говорят, говорят,
Что у Кивы решительный взгляд.
Говорят, говорят,
Что попасть легче в ад,
Чем сбежать на свидание в сад.

На четвертом этаже мы ткнули по разу друг друга кулаком в плечо и уже на цыпочках зашагали каждый к своему блоку: в училище придавали такое значение режиму, словно из нас готовили космопилотов,

а не психоматематиков для связи с иными цивилизациями. Дойдя до своей двери, я осторожно нажал ручку с бронзовым набалдашником. В тамбур блока выходили три индивидуальные курсантские каюты и ванная комната. Я просочился к себе, не зажигая света, дабы не включить ненароком сигнализации на пульте ночного диспетчера. Холодная рубиновая точка с веселым тиканьем бежала по циферблату хронометра, показывающего 0 часов 39 минут — целый час уже я нарушаю режим третьекурсников. Расстегивая на ходу форменную куртку, пересекаю каюту. У стены подвигал рукой, чтоб опустить койку, — скобы не нашел. Забыл, когда и постель приготовил, подумал я, присаживаясь на тираклоновое ложе. Во всяком случае, поступил вполне...

Добавить слово «разумно» не успел: тираклон затрепетал, и чей-то сонный голос проговорил: — Но-но, полегче!

Наступило тягостное молчание.

Цифру 23 на косяке — номер моего блока — я помнил отлично. Дверь каюты тоже не мог перепутать. Неужели ухитрился забраться не в свой корпус? Тогда не только меня надо признать идиотом, но и Толика? Да и здешнего Киву впридачу?

— Кто тут? — прозвучало из темноты.

Я зашарил по стене в поисках выключателя, но бра у койки зажглось раньше: на моем месте, полуприкрытый простыней, помаргивал со сна дюжий парень, бессмысленно мотал головой, щурился от внезапного света. Плечи его и торс можно было моделировать для статуи Геракла. А вот лицо мне не понравилось. Широкий вздернутый нос, недвусмысленно говорящий о добродушии. Небольшие беспокойные глаза. Крупный рот с узкими язвительными губами. Круто срубленный, с ямочкой посередине, подбородок. Разрезанный волнистой русой прядью на две неравные части лоб. По всем правилам физиогномики, не лишенный благородных черт злодей.

Пока я беззастенчиво разглядывал неожиданного гостя, во мне родилось и продолжало усиливаться впечатление чего-то знакомого. Не хватало решительного толчка, краешка воспоминания. Вот эта,

например, не то царапина, не то складка на скуле. У кого-то я видел точно такую же. Правда, не над правой щекой, а над левой. . . Я машинально поднял руку, потрогал пальцем скулу.

— Шрам на роже, шрам на роже для мужчин всего дороже! — пропел незнакомец.

С недоумением и укором посмотрел я на наглеца. Забрался ночью в чужую каюту, занял чужую постель, а теперь еще чужую песню распевает. В его устах она потеряла все свое остроумие. Нет, самозванца следовало проучить. И без промедления. Я сжал кулаки и сделал шаг вперед.

— Всякое действие равно противодействию, — знакомым голосом сказал незнакомец. — Второй закон Ньютона. Физика пятого класса, страница. . .

— Не надо страниц. Не люблю фокусов с угадыванием мыслей. . .

— Но это единственный способ узнать, о чем человек думает!

— . . . как сказала одна бабушка, разглядывая на свет cerebroгормму спящего супруга.

— Внимание, детки! Передаем для вас юмор в коротких штанишках!

Это тоже пахло плагиатом. Еще пытаюсь балансировать на грани шуток, я торжественно продекламировал:

— Бить или не бить? Вот в чем вопрос!

— Попробуй! — хладнокровно предложил гость. Впрочем, гостем он себя не чувствовал. — Гипотезы проверяются экспериментом.

Одним движением он вымахнул на середину каюты. Койка мягко защелкнулась, прищемив между ложем и стеной край отброшенной простыни.

— Заранее белый флаг вывесил? — преувеличенно буднично спросил я.

— Отнюдь. Видали мы уже борцов невольного стиля!

Я чуть не споткнулся на ровном полу — он бьет меня моими собственными афоризмами. Неужели добрался до старенького карманного мнемोगрафа, который последнее время валялся у меня где-то в нижнем ящике тумбочки? Принесло же гостенька на мою голову, а? И хоть бы мускул на лице дрогнул.

Зло меня, понимаешь, берет, еле сдерживаюсь при виде его обнаженного, пружинисто пригнутого, с плотным загаром тела — кстати, такой оттенок коже европейца придает только солнце экваториальной Африки, где и сам я провел последний месяц каникул. Окончательно же меня сразила набедренная повязка, которую я своими руками самоотверженно сплел из искусственной соломки на таитянский манер — да я ее с закрытыми глазами узнаю! Ну, держись, парень! Я не из тех, кто позволяет всякому врывать в каюту и напаяливать на себя мои плавки!

Короткой мысленной волной прогреваю себя сверху донизу, разминаю и настораживаю мышцы. Стянутая с плеч куртка порхнула на экран, туфли улетели к дверям. Рывок мой стремителен и точен, но безрезультатен. Парень с безошибочной грацией делает полуверонику и, когда я проношусь мимо, захватывает болевым приемом кисть левой руки. Освобождаюсь падением через плечо и голову, перебрасываю его через себя. Он из мостика в двойном изгибе — «штопоре» — ловит мое бедро. Реагирую молниеносным поворотом на противника. И, сходу уйдя в задний кувырок, опрокидываю его в туше. Он выжимает стойку с захватом меня в ножницы ног. Отвечаю прыжком через него с опорой на руки. Ничья.

Современная борьба резка и изящна. Все мои выпады партнер парировал надежными контрприемами, будто заранее их предугадывал. Впрочем, убийственная интуиция выручала и меня: я атаковал из самых неожиданных позиций, мышцы стали всевидящими, подчинялись какому-то сигналу вне моего сознания, сами принимали решение в нужный момент!

Уклонившись вероникой от броска, делаю глубокий подкат. И медленно сгруппировавшись, выстреливаюсь параллельно полу. Лишь на миг тело остается без опоры. И именно в этот миг эффектным обратным сальто за секунду до моей коронной двойной подсечки незванный спарринг-партнер косым поворотом ног выбрасывает меня из равновесия. Мои лопатки сами собой припечатываются к коврику.

Ничего не понимая, не поворачивая головы, пристыженной собачонкой слежу, как парень снова опускает койку, забирается под простыню, подтягивает колени к подбородку. Он предвосхитил прием, о котором не должен подозревать! Ведь я сам его изобрел, на самом себе отрабатывал. Я был так самоуверен, что даже не помышлял о защите: не могли же мои мышцы и мозг разболтать то, чем кроме них никто не владел?!

— Не пора вставать? — ехидно спрашивает мой противник.

Нехотя сажусь. Нос к носу раскрасневшаяся знакомая физиономия. Где же я мог ее видеть?

— Не узнаешь? Вот уж поистине, если боги хотят наказать человека, они отнимают у него разум.

Он по-прежнему, не стесняясь, отделяется фразочками из моего лексикона. Неужели все мои остроты ограничены этим дешевым набором?

— Как ты сюда попал?

— Ножками, детка. Ведь и ты предпочитаешь сей способ передвижения, особенно после отбоя?

— Вот что! Шутка зашла слишком далеко. С какого ты факультета? Я не видел тебя раньше. . .

— Не смейся, приглядиись внимательнее. Ну, пожалуйста. . .

— Да пропади ты пропадом, чтоб я смотрел на тебя!

— Иными словами, сгинь, фантом, явись, фотон! — пропел парень, игнорируя мою вспышку.

— Боюсь, мне придется доложить о происшествии. — Я прошел в угол, сдернул куртку с экрана видеофона.

— Давай-давай. Диспетчера безусловно заинтересует, почему Кива по временам вздрагивает как от щекотки и выдает белый сигнал. Кстати, за пультом сегодня Цер. Лично.

— Чего ты наконец добиваешься? — Я начинал уставать от бессмысленного кружения в порочном логическом лабиринте.

— О, совсем немногого, — резвился незнакомец. — Хочу, чтоб ты узнал меня. Где еще такого найдешь? Сорок тысяч километров надо вокруг шарика проехать, пока снова наткнешься. Или два метра преодолеть. Выбирай!

Пятерня его с растопыренными пальцами автоматически скользнула к затылку, звонко пошлепала по налитой шее.

На миг мне стало страшно. Мрачная логика его шуток дошла до меня. А жест окончательно раскрыл глаза. Парень вправе издеваться. Потому что я встречался с ним очень часто. В зеркале. Всю жизнь. И складка-царапина напрасно сбивала с толку: у него она и в самом деле справа, хотя я привык видеть ее во время бритья с другой стороны. Зато совершенно безошибочно нащупал ее на собственной скуле. Каким-то чудом мне удалось вдруг наблюдать со стороны самого себя. Да-да, я не оговорился: именно самого себя, собственной персоной, с моим лицом, моими жестами и моими выражениями. Сижу, значит, на своей койке в индивидуальной каюте и спорю с нахалом, который ко мне ворвался и требует эту самую каюту ему вернуть. Но нахал-то тоже я! Потому что если я — не я, то кто тогда моей мыслью думает? В конце концов, я могу поднести к носу ладонь, пошевелить большим пальцем ноги. Могу подпрыгнуть или наклониться. . . Мой разум все еще в моем теле!

— Не правда ли, процесс самопознания труден и недоказуем? — Сочувствуя мне, парень одобрительно склонил голову к плечу.

Вот еще, недоказуем! Если я — внутри себя, то тот, что напротив, — посторонний. Ребята сговорились разыграть? Так совсем не просто достать артиста с бицепсами, которыми весь курс гордится. Да и стоило ли добиваться такого подобия? Вон даже родинку на руке не забыли. Грим, скажете? Так в нашей потасовке грим давно бы размазался. Я сунулся к зеркалу. На койке я. И тут тоже я. Вылитый. Одинаковые космы. Вздернутый нос. И глаза, оказывается, туда-сюда бегают. В общем, по всем правилам физиогномики, злодей с благородными чертами. . .

— Расщепление личности прошло без душевной травмы! — прокомментировал мои упражнения гость. Вернее, тот я, напротив. Так сказать, Я-визави. И добавил: — А зря. Стоило бы все-таки ущипнуть себя. Или об стенку головой треснуться. Проверить реакцию на боль, а?

Я смолчал. Ведь если на нем мое лицо, значит, он — это я и нужно отвечать самому себе, размещенному одновременно в двух точках пространства. Цирк да и только. Или я сошел с ума.

Минуточку. Подходящая версия в качестве рабочей. Я сел у порога, скрестил ноги. Итак, помешательство. Скажем, на почве несчастной любви. Или из ревности. Но черт возьми, не из ревности же к самому себе? Да и не такая уж она у меня несчастная! Может, математика виновата? Влезешь в многомерности — не только раздвоишься, в плюс-минус бесконечность упрыгаешь! Одно плохо, свихнуться — и то с блеском не сумел, на себе, родном, зациклился. Курсант Шарапов в двух экземплярах. . . Звучит. Оба сидим, оба волосы гладим, щеки ладонями подтираем, почесываемся — одним мизинчиком, почти незаметно, да разве себя проведешь? Как это я такой противной привычки у себя не замечал?

Парень поежился:

— Не смотри так. Вижу, что узнал.

А-а, передергивает. Наверное, что-то безумное в лице появилось. Я не отвел взгляда. Кто до меня мог похвастаться, что в глаза себе заглянул? Вопрос только, кто кому: если мы оба — я, то кто на кого глядит, кто ломает голову, какая из двух половинок сумасшедшая?

Парень поморщился, потер указательным пальцем переносицу и чихнул. Протяжно так, на два голоса, с содроганием, всхлипыванием и чуть ли не мяуканьем. Я не выдержал и захохотал.

— Над кем смеешься? — услышал я вдруг собственный голос из уст парня и тотчас прикусил язык.

Действительно, ну чего особенного в этом чихании? Мало ли кому оно покажется пошлым. А если я не умею иначе? Удушаю щекотку в носу, тру переносицу, но все равно сдаюсь. . . Все не как у других: одно туловище чихает, другое хохочет. До чего дошел, а?

— Будем рассуждать здраво, — проговорил я вслух. — Должно быть какое-то простое и разумное объяснение. . .

Галлюцинация? Тогда почему мой образ ведет себя самостоятельно, не совсем как настоящий, основной я? Правда, я всегда страдал излишним воображением. Но куда девать факт борьбы с самим собой и победу? Считать борьбу символической? Я потряс кистью. . . От такой символики чуть вовсе без руки не остался! И потом, если все так, какой же я сумасшедший? И действия и мысли подчиняются логике. Выходит, я в своем уме?

Парень дернулся, пытаясь возразить, но я не дал ему раскрыть рта:

— Что за привычка перебивать? Бери пример с меня, воспитывайся, пока я жив!

Я устыдился собственной наглости, но быстро успокоился: пусть не зазнается. А парень опять наморщился, по-кошачьи фыркнул три раза. Не испытывая потребности чихнуть, я тоже непроизвольно морщусь. Даже слезы выступили.

— Будь здоров! — сказал я себе и ему, не отрываясь от своих мыслей. Несерьезно это все. Никакой я не сумасшедший. Я в себе. Может, сплю? И вижу связный последовательный сон? И самоволка мне всего-навсего снится. И Вика тоже. И целовался я с ней во сне, факт. И если губы сейчас такие обожженные, такие памятливые, то. . . Вот так сон!

— Сплю! — на всякий случай заверил я себя. — Баю-бай. Мне спокойно, приятно, тело расслабляется, теряет в весе. Сейчас закрою глаза, и Вика снова придет, потому что мне снится, что все это мне снится. . .

Я почмокал губами. И, закрыв глаза, пошлепал к койке.

— А вот погоди, оклемаешься! — услышал я твердый голос. И вслед за тем — полновесную затрещину.

— Но-но, полегче! — парировал я.

Круг замкнулся. С этой фразы наш диалог начался. Ею и завершился.

Парень сидел как ни в чем не бывало, хлопал ресницами. Я протянул руку. Сейчас он исчезнет, рука ощутит пустоту. Но он и не думал исчезать. Пальцы наткнулись на крутое плечо. В общем, мое плечо. Да и ухмылка — чего там скромничать, моя

у него ухмылка. Ехидная, во всю фотокарточку. На его месте я бы тоже смеялся: проверять, не призрак ли, того, кто только что положил тебя на лопатки. Смех!

Спокойно, курсант Шарاپов. В конечном счете, неплохо, что тебя двое. Лучше, чем ни одного. Если даже ты не сразу узнал себя в этом типе, другие и подавно помучаются. . .

Самоуспокоение не подействовало. Другие как раз мучиться не станут: им легче меня узнать, чем мне себя. О себе мы судим только по отражению в зеркале, мы подготовлены к тому, что увидим себя, и отражение покорно подчинится любому движению. А каково увидеть свое лицо живущим самостоятельно? Не всякому выпадает на веку наблюдать себя со стороны. Пристально. До мельчайшей детали. . .

Цепь моих логических построений прервал видеофон.

— Ночной диспетчер! Все! Погорел! — Я заметался по каюте.

— Не интерферируй, быстро в чистилище! — распорядился мой двойник.

— С какой стати? — возмутился я.

— Хорошо, полезу я, а ты объяснишь, почему до сих пор в форменке.

Я рванул с себя брюки, плюнул и ринулся в стеной шкаф.

— Багаж захвати! — послышалось вдогонку.

Я поймал брошенную комом через всю каюту куртку и закрыл за собой створку шкафа.

«Посмотрим, как ты выпутаешься?» — успел я подумать прежде, чем в меня вцепились одежные автоматы. Системы чистилища приводятся в действие сами, едва в шкаф что-нибудь забрасывают. Со всех сторон полились на меня химикаты, забушевали циклоны, на разных высотах щекотно заюлили щетки. Гибкие прилипчивые щупальца трогательно суетились над моими брюками и рубашкой, не понимая, что владелец из них еще не вылез. По носкам, выдавливая пасту, поползли усаые обувные лизунчики.

Вообще говоря, я переживал эту процедуру вто-

рой раз в жизни: по неписаной традиции кубрика ею начинали знакомство с новичком. Уже через несколько секунд я притерпелся настолько, насколько можно притерпеться к химическому смерчу, и прислушался к разговору в каюте. Мягкий чуть картавящий голос Цера выполз из видеофона:

— В чем дело, курсант Шарапов?

— А что, простите? — Двойник очень естественно изобразил недоумение.

— У вас уже девять с половиной минут горит свет.

«Ну, сейчас ляпнет, а отвечать мне!» Я поежился, холодная струйка попала за шиворот.

— Я сейчас, Цер Сергеевич. Привиделся, понимаете, второй постулат по курсовому. Если не зафигсирую, то до утра засплю.

— Нарушаете режим, — строго предупредил Цер. — Что-нибудь стоящее?

— Не поверите, товарищ полковник математики! Как раньше в голову не пришло? Симметричная система с отрицательным псевдовектором. Я почти доказал, что такой дубль существует. Теперь весь эксперимент можно моделировать на нем, а истинный результат переносить с обратным знаком. Хотите, принесу выкладки?

— Надеюсь, не сейчас? Поговорим на эту тему завтра. Сколько вам понадобится времени?

— Еще минут десять.

— Ладно, нарушения не записываю. Но чтоб через десять минут было тихо. Спокойной ночи и дальнейших интересных снов.

Видеофон отключился. Оставив в чистилище одежду, я сбегал в ванную, смыл с себя достижения химии и, растираясь мохнатым полотенцем, присел на койку:

— Находчив. А главное, сразу слабую струнку Цера нащупал. Он за хорошую идею все простит.

— Особенно если в ней содержится зернышко истины.

— Не хватало только меня в этом убеждать. Уши вяли от твоего глубокомысленного вздора, коллега. А математик в любой абракадабре уловит истину.

— Уверен?

— Будто бы ты нет? Ну-ну, не злись.

— Между прочим, я просто сообщил ему о нашем с тобой сосуществовании. Доходит?

— Насчет симметрии? Вполне. Кстати, уж не ты ли дубль? То-то, я смотрю, из одних моих недостатков состоишь. . . Познакоимся?

— Пожалуйста. Арктан Шарапов. Третьекурсник психоматематического отделения Училища Иноконтактов. За границей Солнечной системы не был. Родственников среди Братьев по Разуму до сих пор не имел.

— Биографию мою разучил неплохо. Долго трудился?

— Не очень. Она ведь заодно и моя.

— А насчет знака?

— Не иронизируй. Ты почти уже догадался.

— Снова чтение мыслей на расстоянии?

— Достаточно взглянуть на твое лицо.

— Хорошо, уговорил. Но сам ты кто? Откуда? Как зовут?

Парень очень странно и пристально посмотрел на меня:

— Знаешь, я ведь обманул Цера: идея не моя.

— Замучили угрызения совести? Не волнуйся. Ты подбросил ему такое, что он до сих пор переживает.

— Это выдумал БиоМРАК.

— Нашел чему удивляться. БиоМРАК еще и не то умеет.

— Спроси лучше, по какому поводу.

— Ладно, раз тебе так хочется. Чем забавлялся наш почтенный Биолого-Математический Расчетно-Аналоговый Комплекс, выдумывая такие страсти?

— Решением твоей задачи.

— Моей задачи? — Я растерялся. — А ты откуда знаешь?

— Я в некотором роде и есть его ответ тебе. . .

Вот так номер! Невежливый самозванец — моя копия, мой двойник, мое Я-визави — всего-навсего решение узкой частной задачки. Переплетай в обложку, завязывай тесемочки — и нате вам, курсовой проект Шарапова Арктана. Так сказать, новейшая модель автопортрета. Живая. Без рамочки. Любуйтесь, будьте любезны, потомки. Я открыл. Я! Просто так. Мимоходом.

Я вспомнил, как в прошлом месяце запрограммировал курсовик и сунул в перфоприемник БиоМРАКа. «Познай себя» — ничего темочка, а? Вот и познал! БиоМРАК барахтался в перегрузках, трижды перегорал, выдавал отказ за отказом, с ним возились биохимики и логики. На cerebroконтактах он мучил меня кошмарами, резонировал наиглупейшие воспоминания. А все потому, что безвинный агрегат на полном ресурсе энергии и информации решал мой курсовик!

Я встал, прошелся из угла в угол комнаты — от видеофона до чистилища. Всего полчаса тому назад мы с Викой распростились у дальних прудов училищного сада. Чуть позже обманывали с Толиком неумолимого Киву. И вот я сижу, думаю, спорю с собой. А рядом — руку протяни! — тот же я собственной персоной. Вполне вещественный, живой, ощутимый.

— Послушай, откуда ты раздобыл мои плавки? — совершенно неожиданно вырвалось у меня. — Я никогда не ходил в них на cerebroконтакт.

— А зря! — Парень так и прыснул. — Представляешь, как бы выглядело: за пультом — голый псих! Корень «математик» в этом случае можно и опустить.

— А я уж грешным делом подумал, что БиоМРАК поставил мое изделие на поток. Человечество могло бы обогатиться новой поговоркой: «Родившийся в плавках».

Мой двойник неприлично заржал:

— Ты хочешь сказать, синтезированный?

— А не обидишься?

— Отчего же, я действительно только сегодня появился на свет. И сразу — в таком виде! — Он с удовольствием обнял себя за плечи.

— Сознайся: наверняка пожалел, что не в сорочке?

— Смех! Видел бы ты, как я себе купальный халат отыскивал — из подвала сюда добраться.

— Нашел?

— Почти. Какой-то завалященький лабораторный. Прожженный кислотой на самом интересном месте.

— Небось, поэтому и простудился? — поинтересовался я, почувствовав жжение в носу.

— Именно. Ап-чхи-ии!

— Будь здоров, дубль. Поменьше шлепай босиком.

Мы помолчали. Я не знал, как подступиться к главному.

— А БиоМРАК-то хорош, а? Любитель изречений! — Голос двойника так синхронно совпал с моей мыслью, что на долю секунды мне показалось, я сам это произношу. — Недаром говорят: «Чтоб познать себя, надо взглянуть со стороны».

— Есть на что глядеть! — Из чувства противоречия я фыркнул. — Еще вот при солнышке окончательное сходство проверю.

— Не трудись зря. Пересчитай молекулы — и то различий не найдешь. Абсолютная и не достижимая природой идентификация.

Я даже задохнулся. В самом деле, мы больше, чем близнецы, — самые похожие из них все-таки имеют минимальные различия. А мы совпадаем полно, невиданно и идеально. Совпадаем так утомительно и однообразно, как это бывает только у неживых машинных элементов.

По закону аналогий я готов допустить, что такие системы должны одинаково реагировать на любую информацию. У актеров есть правило: хочешь представить, о чем человек думает, придай себе его выражение лица. Для нас двоих и усилий прилагать не надо, можно на лету мысль другого перехватывать. Еще позавчера мы существовали как неразрывное целое: все, что случилось со мной, случилось и с двойником. Он повторил меня таким, каким я остался в позавчерашнем дне, с тем же настроением, опытом, самочувствием. Даже с моими недостатками. И все события моей жизни улеглись в его памяти, будто он сам их пережил.

Но скопировав прошлое, он не получил неизбежного права на будущее. Как ни ничтожно время нашего раздельного бытия, а между нами уже разверзлась пропасть. Я успел с того дня сдать зачет по биостимулированию, вызвать на матч по стеклоточным шахматам Эткина О'Корнева с пятого курса, признаться Вике в вечной любви, получить в ответ первый поцелуй и нарушить режим. А двойник?

Он обрел собственное тело, оторвался от БиоМРАКа, прошагал босиком из подвала на четвертый этаж, простудился в дороге, натянул чужие плавки, увидел первоисточник своего я. Таким образом, каждый испытал что-то свое, не отразившееся в сознании другого, и это уже внесло крохотные, но непоправимые различия в наш биологический код.

— На чем тебя. . . извини. . . синтезировали?

Напрасно запинался. Моего партнера не так легко смутить.

— БиоМРАК выстроил программный механизм — эготрон. Вылавливал из химического раствора молекулы, клеил организм, начинал считанной с тебя информацией. Элементарная методика. И, судя по мне, неплохо освоена.

— Лучше б он подольше потрудился. Могло что-нибудь путное выйти.

— Передо мной пример вполне естественного происхождения. И знаешь, не нахожу разницы!

— Копии всегда ценились дешевле оригинала.

— А я не совсем копия. Скорее дополненное и улучшенное издание. У меня даже аппендикс вырезан.

— Эх, слизать — и то как следует не сумел! — вскричал я. — Хоть бы шрам на живот не переносил.

— Зато ни один эксперт не возьмется доказать, кто из нас оригинал!

— Арька! — На какой-то момент я споткнулся на своем имени, обращенном к другому. — Арька, но ведь это — грандиозно!

— Не спорю. Только что нам вдвоем делать на факультете?

— Скажем, что мы — братья-близнецы.

— Которые внезапно распочковались на третьем курсе. Убедительно.

Смешно? А мне было не до смеха. Надо ж так буквально истолковать тему! Что может быть нелепее и глупее — все время глядеть на себя со стороны? Через некоторое время я изучу каждую черточку своего лица, открою тайну каждого своего жеста, узнаю моего Я-визави лучше самого себя. Потому что мысленно предугадаю любое его движение. И, наоборот, заставлю его ответить движением

на любую мою мысль. От моих глаз не укроется, как шевельнется под дуновением ветра волосок на его голове, как блеснет искринка из-под ресниц: при таком идеальном — до атома — сходстве мы превратимся в резонансные системы, настроенные на телепатическую связь. Первая в истории человечества пара с перекрестным мышлением. Еще не известно, кто кого будет опережать! Я смогу описать, как ведет себя человек, когда по спине бегут мурашки от холода или когда он вспоминает губы любимой, ибо не только увижу себя извне, своими глазами, но и почувствую все это изнутри, всем организмом. Я устранию свои недостатки — в манере говорить, садиться, смеяться, есть или выступать. Каждый жест станет отточен и утончен, каждое слово выверено и взвешено, каждое мимическое движение экономно и выразительно.

А вскоре начнется скука. Смертельная. Бесконечная. И еще более утомительная от сознания безысходности. Над жизнью нависнет приторная, до тошноты приевшаяся маска, вдесятеро чудовищнее от того, что будет изображать свое собственное лицо. Приговоренный наблюдать себя со стороны, я заранее предугадаю, **что** именно скажу, **куда** повернусь и **как** вздрогну от неожиданности. И если даже у меня отнимут игрушку — разлучат с живым автопортретом, — я сам себе стану двойником. Потому что наималейшее внутреннее движение автоматически свяжется с конкретным изменением образа моего я. Заученный, запомненный, надоевший себе до идиотизма, я ни с одной гримасой не уйду от собственных глаз. А когда захочу найти спасение в полной неподвижности, в отсутствии всякой мимики, мне напомнят о себе мускулы, живущие в противоборстве чужих биотоков. И уж совсем неуютно станет из-за того, что ни за какими стенами не укроешься от взгляда на себя моего Я-визави: ведь где бы он ни находился, он всегда будет чувствовать то же, что и я.

Я вздрогнул. Нет. Нет-нет! Я не хочу такого познания, оно убьет саму радость бытия, отравит медленно, исподволь, громоздя нелепицы на успех эксперимента. Я утрачу вкус и счастье жить, ибо будущее вместе с неизвестностью потеряет смысл.

Такое, что там ни говори, могла выдумать только машина: вырвать человека из человечества и раскрыть для кого-то одного. Раскрыть полнее, чем любой неодушевленный предмет на ладони — до последней клеточки, до самой элементарной мысли. Перед этим ужасом обнажения я впервые понял, что человек должен познавать себя собственным пристальным зрением, иметь защиту от телепатического вмешательства. Даже страх, боль, чувство голода должны быть личными, выстраданными, а не наведенными от чьих-то чужих ощущений.

— Надо же, одно прошлое на двоих! — Я поднес ко рту внезапно озябшие пальцы, подышал на них.

— Надеюсь, ты не побежишь давать объявление: «Украдена биография. Просьба срочно вернуть владельцу»?

— Иронизируешь? Представляю твой видок, если б я в БиоМРАК программу на познание амебы заложил? Так сказать, для простоты.

— Разумеется, в этом случае тебе было бы легче себя раскусить.

Мы синхронно захихикали, будто каждый уже увидел на месте другого гигантское одноклеточное.

Но вот у моего Я-визави поднялась бровь: именно в этот момент меня кольнула крохотная идея, и я, конечно, не стал держать ее при себе:

— Давай на завтра распределим обязанности?

— Нет ничего проще. Ты слушаешь лекции, формулируешь Церу второй постулат, который я великодушно тебе дарю, и выигрываешь две партии у Эткина. А у меня легкая прогулка с Викой в экваториальную Африку.

— Это ты брось! — Я нахмурился и постарался придать лицу независимое выражение, которое тотчас проявилось в моем двойнике. — Пока она тебя знать не должна. Потом когда-нибудь скажем. . .

— Ты форменный шантажист. Пусть сама выберет, мы ведь вместе на свидание ходили, ты и я. В конце концов, в мой мозг все твои чувства заложены.

— Не все. Мы с ней сегодня. . . Ну. . . целовались.

— Вот они, последствия разделения личности!

Стоило дня на два задержаться в общей оболочке, и я испытал бы то же самое. . .

— Замолчи, пошляк!

— Раскипятился! Раньше ты вроде не придавал значения таким вещам?

— Да пойми ты: Вика — это. . . Ну, это Вика!

— Доступно. Однако и я тебе как будто не чужой. Раз такое дело — может, и ее в близнецов, а?

О БиоМРАК! Я скрипнул зубами. Если это приду-мано моим двойником, значит, где-то и у меня в под-корке подобные мыслишки бродят. Викины лицо, глаза, руки, волосы — все удвоено, утроено, пущено под копирку. Десятки, сотни, гаремы любимых девушек! Можно раздаривать знакомым, и их не убудет. И каждый вечер рядом с тобой будет та же, но уже совершенно иная, всегда иная подруга!

Нет! Только не это! Страшное могущество науки не должно оборачиваться темной и низменной сто-роной.

Я так взглянул на Арьку, что противную его ухмылку точно ветром сдуло. Надо отучить себя так ухмыляться: тонкое, чуть заметное движение губ — и все вокруг развенчано, унижено и опрокинуто. Даже дрожь пробирает.

— Прости, я понял, — произнес Арька-два моим, слегка охрипшим голосом.

На миг почудилось, это я устал и постарел лет на десять. Где-то далеко в прошлом остались Толик, Кива, курсовик. А здесь, наедине со мной, были только два моих я, вдвое удлинившаяся жизнь, неопределенное будущее. . . И бремя тяжелой ответ-ственности за эту вот разбуженную неопределен-ность.

— Слушай, Арька-дубль, а чего мы, собственно, вибрируем? Обнародуем завтра по всепланетному вещанию — и пусть все человечество думает. Плюс Мировой Совет.

— Цер не простит. И ребята будут зубоскалить.

— Перетерпим.

— При нашем-то сходстве? Да неужели не най-дем возможности отыгаться?

— Как же! Выпустят нас всякие комиссии из своих лап.

— Нам-то что, а вот БиоМРАК жалко. Затискают его умиленные тетеньки и дяденьки в степенях и ужасно ученых диссертациях. А он у нас тихенький, к вниманию не приучен.

— Наложат ограничение на эготрон. . .

— Еще бы. Иначе столько эгоистов расплодит — голова закружится. Если уж кого и умножать, так гениев.

— А куда серым двойничкам вроде нас деваться?

— Разрабатывать этические варианты проблемы. Нехорошо, мол, деточки, лазать в эготрончик. Там разные глупости увеличиваются в геометрической прогрессии.

— Так сразу гипотетические деточки и поймут всю аморальность своего поведения! Впрочем, кому понравится жизнь у всех на виду, как в аквариуме?

— И все-то ты понимаешь, дубль-Арья, даже противно! — Я с удовольствием посмотрел на его. . . то есть на мою. . . в общем, на нашу физиономию. А что? Вполне милая физиономия. Еще ведь не наступил второй этап, когда начнет друг от друга тошнить.

— Что будем делать?

— В данный момент? Соблюдать никем не отмененный режим. Отбой еще в прошлых сутках остался.

— И ты способен сейчас заснуть?

— Еще как! Вот здесь на ковре и устроюсь. Кинь-ка мне простыню. И подушку тоже, не стесняйся. Одну ночь и без них на тираклоне выспишься, мой неожиданный гость на Земле!

Арья хмыкнул и погасил свет.

Засну ли? Никто не знает, как и в чем проявится наша телепатическая настроенность. Усилится ли она со временем или ослабеет по мере наложения все новых черточек на каждую из индивидуальностей? От этого зависит, жить ли нам одновременно или кому-то придется уходить обратно в небытие. А кому именно? Ни один не имеет перед другим преимущественных прав, продиктованных моралью или генетикой. Сколько путей у нас, первой пары нетривиальных близнецов? И какой новый потрясающий эксперимент зреет сейчас в чьей-то гениальной курсантской голове?

Спокойной ночи, мой двойник, моя копия, мой друг и противник! Нам надо хорошенько выспаться и крепко подумать обо всем.

Спокойной ночи, первый человек-спутник, кровь от крови моей и плоть от плоти. Погаси на ночь резонанс: я хочу видеть собственные независимые сны.

Спокойной ночи, я!

ИЩУ СЕБЯ

Анатолий Сергеевич Билун выпал из кровати не потому, что вообще беспокойно спал по ночам, а потому, что во сне в этот раз зачем-то прыгал с берега в воду. Берег был высокий, обрывистый — каким-то образом в голых гранитных скалах узнавался кусочек Верхнеисетского водохранилища. Теперь, лежа возле кровати, Анатолий Сергеевич не мог вспомнить сна, по крайней мере, той его части, которая перенесла его из ленинградской квартиры на Урал. Остальное застряло в памяти ясно, четко, будто и вправду он только что брел по улице среди двухэтажных домов — кирпичный низ, деревянный верх, потом, теснимый рюкзаками, штурмовал с туристами вагон пригородной стрелы; не зная слов, подпевал в вагоне честной компании; вслед за кем-то неожиданно для себя выскочил на незнакомой станции в темноту; готовил на равных с ребятами костер, благо никто ни о чем не спрашивал. Но в два или три часа ночи опять подступила боль, колупнула позвоночник, толчками поднялась к горлу, сгорбила тело. Подавив вопль, Билун ушел на берег, торопливо сбросил одежду — торопясь не столько от того, что не хватало дыхания, сколько чтобы таким вот бессмысленным действием поскорее отвлечь, отвлечь, отвлечь себя от сковывающей тело боли. Стараясь не морщиться, он осторожно подвинулся к краю обрыва, оттолкнулся и вниз головой полетел во мрак.

До этого момента, совпавшего во времени с пробуждением, Анатолий Сергеевич добежал мысленно без труда. И проснулся явно не от боли, а от затянувшегося падения, ощутимо помня два его завершения: легкий удар об пол в Ленинграде — и второй через долю секунды близ Свердловска о расступившуюся волну. Сон будто бы продолжался наяву. Точнее, продолжался наполовину: за окном под ветром бился фонарь, раскачивая в пятне света наборный растрескавшийся паркет и застекленный низ книжного стеллажа, а Анатолий Сергеевич, царапая грудью твердый пыльный пол, плыл под звездами,

слегка загребая брассом и отфыркивая от губ огуречно свежую воду Исети. Мышцы терпели двойное бремя биотоков, совмещая покой и движение. И сколько Анатолий Сергеевич ни вертелся на ковре, в нем не исчезало ощущение жутко холодной струи, которая случайно ожгла на повороте левую руку: от локтя до плеча рука покрылась «гусиной кожей».

Билун поднялся. Сел на кровать. Взглянул на лепной потолок, куда отбрасывали световой зайчик часы. Четверть второго ночи в Ленинграде точно соответствовали той живой действительности сна, которая отметила боль по свердловскому времени между двумя и тремя часами. Анатолий Сергеевич решил, что слишком много думает о нелепой причуде физиологии. Так недолго и до вещих снов докапаться! А потому заставил себя лечь на правый бок, повернуться к стене. Течение Исети сразу же подхватило его, закачало, понесло к берегу, и он постепенно заснул. Впрочем, без излишней уверенности: обе яви текли в нем параллельно, он просыпался и засыпал и не мог похвастаться, что до утра понастоящему отдохнул — сон повторялся с прерванного места, стоило чуть-чуть задремать. Из ленинградской яви Билун проваливался в жизнь, тоже хорошо ему знакомую, синхронную, логически устойчивую, из которой хоть и выскакивал сразу, но все же с остатками тихо гаснущего, едва ощущаемого второго бытия. В эти моменты он улавливал даже, как борются в нем обе половины сознания, сцепленные бессмысленной и сложной связью: «Я знаю, что он знает обо мне, но он не должен догадаться, что я знаю, что он об этом знает. . .»

Почему именно Свердловск — сомнений не возникало. В Свердловске изгоняли из тела болезнь, которая теперь возвращается по ночам невозможными снами и кошмаром раздвоенности. Но вот как объяснить то, чего с ним никогда не происходило? Как объяснить турпоход, Исеть, затяжные прыжки с обрыва в темноту?

К семи утра Анатолий Сергеевич измучился окончательно. Не сумев победить боли, он покинул туристов, дождался обратной стрелы и побрел пешком по ночному Свердловску. Мимо памятника

Бажову. Под наклонной иглой Института космической медицины. Вдоль общежития УЗТМ, прозванного студентами-практикантами «Мадрид» (откуда, кстати, он об этом знает?). По краешку площади Самоцветов. И все то время, пока свердловская составляющая его организма маялась бессонницей, сонливость не покидала ленинградского тела Билуна — даже после холодного душа. По дороге в лабораторию Анатолий Сергеевич ухитрился задремать в метро. И снова увидел себя на Урале, в Минералогическом музее, куда забрел, продолжая убивать боль и время. Пожилой посетитель рядом, нюхая нефтеносный известняк с глубины семисот метров, блаженно сощурился, помахал высохшей ладонью у носа.

— Эх, красота! Как от шофера в моей молодости!

Опасаясь уютных усыпляющих кресел, Билун поехал стоя. А от метро всю дорогу шагал по самой медленной нитке движущегося тротуара.

До него дошло вдруг, что целый год он был неизлечимо болен и впервые после болезни идет сегодня на работу. Памяти не хватало конкретности. Сквозь смутную пелену просочились успокаивающие слова Гриши Лукконена, лечащего врача: «Не переживай, старик, искусственная летаргия. Биостат. Считай, ты это время и не жил вовсе!» Слова эти Гриша произнес едва ли не вчера, после чего быстро выдворил сонного Билуна в родную квартиру. Точно торопился отделаться!

Наверное, чего-то он недовспоминал, что-то вывалилось из подвластной памяти логической цепочки. Такое ведь несовместимо ни с какой в мире врачебной этикой! Может, наоборот, истина находится в Свердловске, а снятся ему Ленинград и метро? Может, правó тело, не желающее расставаться с воспоминаниями, которые держат в плену мышцы и мысли? А изгнанная боль соединяет сон и явь...

На набережной Билун сошел с движущегося тротуара и повернул за угол, тайком радуясь, что не забыл дорогу, — в таком состоянии с ним и это станется! Но уж будьте уверены, Гриша не дожидается его обратно: если беспамьятье ограничено периодом

болезни, то неизвестный кусок жизни придется перешагнуть точно так же, как и тревогу, разорвавшую сознание надвое. . .

У ворот биофизического центра Билун помедлил. Пилоны в виде двух фараонов были ему знакомы — тем неназойливым знакомством, когда часто что-нибудь видишь, не придавая этому преднамеренного значения. Еще бы! До болезни Билун прошел между ними уж никак не менее пяти тысяч раз. И все же была в них сейчас какая-то неожиданная новизна, была, никуда не денешься. Точила все же мыслишка, что Анатолий Сергеевич видит этих фараонов впервые. . .

Миновав арку внешнего корпуса, Билун взялся за витую бронзовую ручку. Соскучился, черт возьми, даже сердце «та-та, та-та», что-то маршевое. . . Как тут управлялись без него целый год? Все налицо, никто никуда не сбежал? Впрочем, не сбежал, знаешь ведь, Юра Данилов писал тебе о лаборатории — подробно, как пишут только тем, кого не надеются увидеть. . . Ух, какая тугая дверь! И между прочим, ни души. А через четверть часа начало рабочего дня. . . Порасшаталась, порасшаталась дисциплинка, некому без него гаечки подкрутить. . .

Тут откуда ни возьмись набежал Юра Данилов, сгреб за плечи, стиснул — и отшатнулся:

— Прости, как ты?

Билун понял вопрос. Но отвечать не собирался. Подождал, пока Юра смущенно отступил, даже глаза отвел, не веря полностью в выздоровление от смерти, а после так сжал в объятиях, что у Юры кости хрустнули. Больше оба сделать ничего не успели — кто-то, отчаянно вереща, скакнул на шею Билуну прямо с лестничной площадки:

— АС!

— Зойка! — ахнул он. — Ты никак еще подросла за год?

— И похорошела, — гордо прибавил Данилов, точно это был его самый главный сюрприз.

Он с мужской неосторожной откровенностью сообщал в Свердловск о Зойкиной влюбленности, и Билун читал между строк, что столь преданным и небоязливым может быть только безнадежное чув-

ство — безнадежное перед его, Билуна, неоспоримой смертью. В больничной обстановке эти письма оставляли Анатолия Сергеевича холодным. Он понимал, как легко утешится Зойка. Да и ему там было не до любви. Но сейчас, едва она произнесла своим низким голосом «АС!» — этим именем из инициалов звала его заглазно вся лаборатория, — как что-то где-то колыхнулось в нем, стронулось, поехало, и он подумал: может, тоска по любви, не обязательно по Зойкиной, и вытащила его из биостата? Каждый по-своему побеждает смерть!

Билуна покорила Зойкина бесцеремонность. Забила себе девчонка голову романтикой безнадежной любви, способом выражения которой выбрала эту самую бесцеремонность. Раньше бы АС немедленно и тактично высвободился. По старой привычке и теперь незаметно и коротко оглянулся: не чересчур ли все нелепо и смешно? Но Зойкины руки приятно тяготили его, он не торопился от них отделаться, наоборот, новым обостренным чутьем улавливал, что они связывают его со старым миром лаборатории лучше, чем даже зрение и слух. Именно этих маленьких твердых рук не будет хватать ему, ибо Зойкины объятия становятся все легче, все слабее, словно Зойка, не сходя с места, уже начала отдаляться.

Она оторвалась на длину вытянутых, не снятых с его плеч рук, смело всмотрелась, покачала головой:

— Похудели все же. Выцвели. Нам как сказали, что не померли, возвращаетесь, думала, с ума сойду. Девчонок терблю, а они смеются, не верят...

Она испуганно зажала рот, сообразив — ляпнула больному не то. Но сразу же потрянула своей тускло-золотистой короной:

— Идемте, идемте. Вы в лаборатории ничего не узнаете.

— Что, Петручик все по-своему завернул?

Праздный вопрос! Билун прекрасно знал, такие толстые мягкосердечные заместители ничего по-своему не заворачивают, свято оберегают порядки шефа. Лишь в углу стоял новый рефрактор, которого не было год назад. Да на биопанели появился лиш-

ний рубильник, зачем-то нацеплены кольца Лизеланга... Ай-я-яй, спектроскоп-то пылью зарос, похоже, им ни разу не пользовались. И конечно журнал наблюдений у Радюша опять валяется раскрытый на последней странице — времени не хватило сунуть в стол. Может, надеется, господь-бог пошлет ему за ночь новые данные? Придется сыграть роль господа-бога.

Оглянувшись, видя, что Зойка с Юрой наскоро наводят лоск в раковине модель-инкубатора, Анатолий Сергеевич вороватым росчерком изобразил марганцовкой, прямо под неоконченным результатом, танцующего цыпленка. Он с удовольствием подумал, как заставит растяпу Радюша переписывать испорченный журнал — не назло, конечно, а исключительно в воспитательных целях. Настроение в привычной обстановке выровнялось, утратило оттенок болезненного недоумения, и, дойдя до сдвинутых вместе столов Людочки и Катеньки Пинаевых, которых для скорости называли одним общим именем ЛЮКИ, он только губы в ниточку подобрал. Этим сестрицам-болтушкам он, например, никогда не позволял селиться рядом. Себе дороже!

Чем дальше Анатолий Сергеевич шел по лаборатории, тем определеннее становилось какое-то несовпадение между увиденным — и восстановленным из памяти. Каждую шкалу, даже расположение приборов, он помнил лучше линий собственной ладони. Но помнил не своей, а посторонней памятью, которая лично его не касалась, не задевала, не звала немедленно продолжить то, к чему так рвался из Свердловска. Противоречие между памятью и зрением рождало устойчивое беспокойство, особенно невыносимое из-за того, что он чувствовал себя здоровым — здоровым тем здоровьем, о котором не надо спрашивать мнения врачей, которое само по себе чистым звоном гуляет по телу.

Между тем в лаборатории собирался народ. Прикатился из кабинета Петручик, на ходу промокая платком лысину. Прослезился у Билуна на плече. И все кудахтав добродушно и искренне, как хорошо и как вовремя для лаборатории возвращение шефа. Петручик был начисто лишен честолубия и не связы-

вал со смертью начальства никаких планов собственного возвышения, поэтому слова его следовало принимать без натяжки — Анатолий Сергеевич действительно был здесь нужен. . .

Директор института, наоборот, предложил не торопиться с работой, с недельку отдохнуть. Директор боялся сложностей, каковыми в данном случае являлась перемена руководства в середине планового квартала. Поэтому с понятной, неискусно замаскированной хитростью ссылался на необходимость кончить серию опытов коллеги Петручика.

— Передавать на ходу слишком сложно, — заключил директор кратенькую речь. — Отдыхайте пока, Анатолий Сергеевич. Подлечивайтесь. Я дам команду кадрам оформить дополнительный отпуск.

Спорить было не о чем. И Билун уже начал потихоньку ломать голову, чем займет себя в дни неожиданного досуга.

У директора были свои постоянные сопровождающие. Затесавшись в его свиту, Анатолий Сергеевич к концу обхода шагал во главе довольно-таки внушительной толпы под нарастающий шепот: «АС! АС! АС вернулся!» Особых иллюзий насчет любви к себе он не питал — некоторые вновь принятые сотрудники вообще видели его впервые. Но все радовались поводу на минутку сбегаться вместе и пошуметь. Кроме того, факт излечения неизлечимого — безотносительно к судьбе конкретного Билуна А. С. — будил во всех стихийную веру в непреодолимость жизни — сродни бессмертию. Девушки подняли восторженный гвалт. А младший научный сотрудник Федя Радюш несясь впереди на руках, колотя друг о дружку в воздухе подошвами тяжелых платформ. Анатолий Сергеевич давно уже отступился, не делал замечаний, не мешал восторгу подчиненных и неподчиненных коллег. Да по совести говоря, и сам в душе радовался вместе с ними и за них своему возвращению.

Маршрут вынес толпу в «живой уголок», где за глухими с виду стенными панелями обитали подопытные животные. Здесь их подвергали динамическим воздействиям — тряске, пиковым всплескам магнитных полей, ударам света, переменному шумо-

вому фону, воздушным смерчам, перегрузкам, невесомости — словом, всему тому, что вместе и порознь обрушивает на горожан современный город. Надо сказать, «живой уголок» давал ученым сколько угодно примеров различных нестандартных реакций. Толпа шумно топала по коридору, а Анатолий Сергеевич, не признаваясь себе, постоянно высматривал, далеко ли переливается нежаркое весеннее солнышко Зойкиных волос.

Ниши для животных, перекрытые стенными панелями, обычно отворяются дистанционно, с пульта, хотя местный привод у них тоже есть. Неизвестно, что произошло на этот раз. То ли случайный каприз электричества замкнул ненароком нужные контакты. То ли Зойка, позируя перед Юркиной фотокамерой, нечаянным прикосновением отключила блокировку. Но одна стенная панель вдруг сдвинулась и обнажила темный зев обезьянника. Оттуда, по-человечески заслонившись от света локтем, выскочила огромная пакостная горилла Гужбан. Гужбан и так-то имел характер не сахар. А когда над ним после долгого мрака зажигали прожектор, просто сатанел. Постепенно убирая от морды локоть, он жмурился, моргал и на глазах наливался злобой.

Анатолий Сергеевич сделал по инерции еще несколько шагов. Другие не только остановились, но и попятись. Рядом оказалась одна Зойка — она, будто продолжая позировать, опиралась спиной о стенку у самого края проема. Растерявшись от близости людей, Гужбан переводил взгляд с Зойки на Анатолия и обратно, пожалуй, лишь с единственной целью: с кого начать. Сподручнее ему показалось начать с Зойки. Волосатые пальцы собрали в жменю платье на ее плече. Материя, уступая, затрещала. Зойка настолько испугалась, что даже не вскрикнула. Но сильнее боли и сильнее страха улавливалось отвращение к коричневой липкой волосатой лапе самца. . .

Анатолий Сергеевич не отличался силой. Да и о пределах личной храбрости имел весьма туманное представление — не выпадало возможности испытать. А тут, ступив недостающие полшага, плечом оттер девушку, поймал Гужбана повыше кисти,

сжимавшей лоскут Зойкиного платья, правой рукой перехватил на замахе левую лапу гориллы и сразу же почувствовал, как его распяливает поперек тела неимоверное движение Гужбановых мышц.

Видимо, обострение опасности делало с организмом то же самое, что ранее сон. Восприятие Билуна вдруг удвоилось. Чужая параллельная явь подстроилась к мозгу. Помимо своего существования здесь, посреди изогнутого в обе стороны коридора с Зойкой поодаль и ехидно оскаленной Гужбановой пастью вблизи, Билун обрел еще одного себя в кремовой комнате — сидящимся подняться из полукресла, держась за руку Альбины Викторовны. От этого момента обе картины, не смешиваясь, разрывали Анатолия Сергеевича на два различных действия. Биотоки, усреднившись, навязали общее движение обоим телам. Там и здесь Билун гибко выпрямился, шагнул вперед. И Альбина, и Гужбан ощутили этот оголенный комок эмоций.

Билун резко сбросил горилловые лапы. . .

. . .И они послушно обвисли вдоль мохнатого туловища, потеряв Зойку и нахального, напрашивающегося на удар типа. Животное тотчас выбросило из памяти темную камеру сзади и раздражающе шумных людшек, замерших вокруг и дрожащих. Гужбан ничего не видел, кроме жестких призывающих глаз. . .

. . .И руки Альбины покорно опустились, откликнувшись на внезапное изменение в Анатолии настроения жизни, к которому так чутко неравнодушны женщины, дети и любящие человека животные. Перед ней был совсем иной Анатолий, разбуженный от невнимания к другим, рвущийся из оболочки ожидания смерти, в которую сам же себя и заковал. . .

Теперь Билун нежно-настойчиво и уверенно разворачивал за локотки к свету покорно-громадное туловище гориллы и закаменело распахнутую ему навстречу фигурку Альбины. . .

. . .Гужбан сморгнул, заерзал черными зрачками,

. . .В нем никогда не помещались рядом сила и

откинул назад квадратную голову. На него никто никогда не смотрел таким взглядом — взглядом покровительственной дружбы, которой невольно хочется подчиниться, взглядом силы и нежности. . .

нежность. Соединившись, они покорили и обессилили Альбину чем-то по-настоящему мужским. Привыкшая, как к предназначению, быть последней любовью умирающих, Альбина вмиг забыла тех, других, закрыла глаза, стиснула зубы, и тело ее льнуло, льнуло, льнуло к нему, доверчиво и требовательно, как это умеют одни только женщины, если никто на свете не мешает их женскому счастью. . .

Поворачиваясь и заслоня собой в одной жизни Альбину от гориллы, в другой — гориллу от неведомой человеческой опасности, Анатолий осторожно подталкивал это невероятным образом слившееся в сознании существо назад, назад, пока уже самому ему некуда было деваться. . .

. . . Гужбан, пятясь, не отводил от него молящих глаз, признавая за человеком право навязывать свою волю и доверчиво отдаваясь этой воле. И все дальше мелкими шажками отступал в глубь камеры, увлекая следом своего укротителя.

. . . Анатолий опустил Альбину в полукресло и выжидательно склонился над ней, прислушиваясь через ее настроение к миру вокруг, чтобы чутко, камертоном, отозваться на фальшивую нотку, и ничего больше не видя, кроме ее некрасивого, счастливого, согласного лица с зовуще закрытыми глазами.

Опомнившись, Зойка рывком перетащила Билуна через порог клетки, захлопнула панель. Тотчас дальнюю картину будто выключило из мозга — все на свете заслонила девчонка, придерживающая рукой и подбородком лоскут платья на обнаженном плече.

Целое мгновение Анатолий Сергеевич ничего не ощущал в себе, кроме мысли, что удвоение не имеет никакого отношения к психическому расстройству, как он вначале подумал. Совсем не внутри него лежит мучающая его тайна. Необходимо отыскать точку, где жизнь разошлась на параллельные течения, отыскать себя. . .

Билун сорвался с места, проскочил коридор, быстрым шагом пошел прочь из лаборатории. Через двор. Мимо фараонов. По скользкой после дождя набережной. По висячему мостику над Литейным проспектом. По движущемуся тротуару. Он шел и ехал совершенно случайными маршрутами. И лишь очутившись на перроне гравистрелы, понял, куда стремился. А поняв это, зачерствел душой, сосредоточился на Зойке, чтобы не отвечать себе до времени на мучительный вопрос. Сгорбившись, затиснув руки в карманы, бродил он по пятаку монорейсов, где никто не утихомиривал ветра. За время ожидания Билун здорово продрог.

По должности Анатолий Сергеевич располагал правом на два заказных монорейса в год да два неиспользованных накопилось за период болезни. Когда спецвагон, подлетев, сглотнул его и причмокнул дверями, Билун с маху опустил в прогнувшееся почти до пола кресло, набрал на адресном щитке шифр. От тишины и неподвижности засосало под ложечкой.

Спроси его кто-нибудь, почему следует мчаться на родину, пришлось бы углубиться в неубедительные рассуждения: если уж, мол, искать разрыв между восприятием и воспоминаниями, то начинать надо безусловно с детства. Но никто ни о чем не спрашивал. И потому Анатолий Сергеевич, не задумываясь, не рассуждая, исключил себя из жизни на бесконечные два часа пути. Схваченный бесплотной опорой от колен до подмышек, он еще больше расслабился, продавил кресло. Заказал чашку какао. Хлебнул глоток. И уже окончательно сосредоточился на Зойке.

Зойка, слава богу, требовала всех мыслей. Известно откуда взявшееся понимание чужих душ делало мысли ясными и правдивыми. Будто ими управляла сейчас та, о ком он думал.

Зойка свалилась в лабораторию по распределению. Точнее, по комсомольскому распределению: в подшефной школе с химическим уклоном в ней заметили отличного организатора олимпиад. Не очень рассчитывая на блестящее будущее в науках, она без особого усилия взлетела на общественные высоты — устраивала для сотрудников культпоходы, увеселения, счастливый отдых на лоне природы.

Однажды и сам Билун каким-то чудом оказался с ней в одной палатке. После костра, гитары и семисотграммовой кружки продывленного, шипящего паром в нос глинтвейна спать не хотелось. С берега озера доносились прозрачные туристские песни. А по соседству в верхушке сосны устроилась ненормально голосистая кукушка. Ровное Зойкино дыхание не могло обмануть Билуна. Боясь к ней повернуться или, не дай бог, прикоснуться, он откатился на край палатки, под сырую от росы стенку, и к утру один бок ныл глупой болью. В операциях типа «Глинтвейн и кукушка» Билун никогда больше не участвовал: и так с тех пор не мог выбросить из головы тоненькую девчонкою фигурку в брючках и отороченной мехом курточке с капюшоном.

А выбросить было необходимо — после третьего-то консилиума лечащих врачей! Еще не был произнесен окончательный диагноз, а по институту утвердились слухи. Подумать только, такой молодой, талантливый. . . Осталось каких-нибудь три месяца. . . Все на работе да на работе — семью было некогда завести. . . Говорят, профессор Цегличка специально приезжал и тоже отступился. . .

Уже опробовали на нем разные средства светила медицины и начинающие лекари — все, у кого находилось новое объяснение болезни. Уже доктор Петручик привык к вечной приставке «врио». Уже на входящей корреспонденции перестало появляться имя Билуна — устойчивый признак перемены власти. Одна

Зойка не захотела и не смогла примириться с неизбежностью смерти Анатолия Сергеевича.

Девчонки сами назначают себе объект обожания. Так необычно любить безнадежно больного! Поставить в компании грустную пластинку, сесть на подоконник, сделать красиво-страдающее лицо. . . И никаких обязательств — до абсолютной свободы всего-ничего, три месяца, но никому никогда, в том числе — самой себе! — в этом не признаешься!

Анатолий Сергеевич не отвечал на пылкие Зойкины письма, ограничивался приветами из третьих рук, чаще всего — через Юру Данилова. Но Зойке и не нужны были никакие его ответы: собственной ее мечты хватало на двоих.

Возвращение Билуна было опасно для Зойкиной любви, развеивало ореол романтического страдания и безнадежной жертвенности. Сама она этого не заметила. Она еще радовалась встрече, еще мечтала о странном счастье, отвоеванном у судьбы. А он уже предчувствовал ее уход — именно теперь, когда она нужна ему много больше, чем тогда, в летаргической полужизни Института космической медицины. Он всегда шел по течению, предоставляя времени самому выяснять отношения. И потому так с маху убежал из лаборатории. Узнав о новой разлуке, Зойка почернеет с горя. И вместе с тем — утешится: разлука намечалась настолько мизерной, что и говорить о ней неловко. Зато именно разлука даст возможность снова помучиться, на несколько дней возвратит привычную роль безнадежно обойденной судьбой. Это ей. А ему.

Вагон раскрылся. Кресло мягко вздулось снизу, выбросило Анатолия Сергеевича на перрон. Из палисадника возле вокзальной башенки совсем подомашнему расталкивали зелень огромные мальвы. Отовсюду неся запах нагретой солнцем вишни.

На улицах было пусто. Лишь кое-где копошились по огородам старушки, не уступавшие автоматам удовольствие копать в земле. Увидев его, ста-

рушки разгибались, здоровались, долго смотрели вслед из-под сложенных козырьками ладоней. Анатолий Сергеевич почти дословно улавливал невысказанный вопрос: «А це нэ Климовнин ли хлопець? Та ни, у той вродзе б падародней будэ. К Бредунам сын тильки о позапрошлом годзе наезжал. Може, Настурьиных? То ж не иначе Настурьиных, бильш вродзе не к кому. . . Якый гарнэсэнький. . .»

У Анатолия потеплело на сердце от этих по-хорошему любопытных взглядов, от всамделишной добрососедской заинтересованности. Он и раньше любил неменяющихся старушек, которые мотаются на выходные в гости через весь земной шар, а вот если сюда кто заглянет, то для них уже и событие, и праздник. Он неторопливо шел мимо легких разнокалиберных заборчиков, в коих больше всего сказывался характер хозяев. Поверх заборчиков плескали узкими серебряными листьями маслины, знойно благоухали солнечные кровинки вишен.

Улицы казались чересчур короткими. Было б не удивительно, если б Анатолий Сергеевич смальства сюда не наведывался и мерил все мерками детства. Но он-то наведывался! Выходит, ему и тут не примирить с воспоминаниями знакомые улицы и дома? Или. . . Или он потерял себя не здесь, но всеми силами пытается натянуть на сознание чужую память. . .

У одного дома Анатолий Сергеевич чуть-чуть постоял, прежде чем войти. Тропка за калиткой узко отвоевала себе место среди петуний и огоньков. Отяжелевшие от жары мальвы усталились на гостя с высоких голых стеблей. По веткам вдоль стен взбирались зеленые плети повители. Анатолий машинально сорвал фиолетовый граммофончик, сжал пальцами зев, дунул с узкого сладкого конца. Цветок напружинился и трескуче лопнул. . .

Борис не ждал Билуна и не мог ждать. Они не виделись лет пятнадцать — в прошлые Толины приезды его обязательно куда-нибудь уносило, а писем и телесвязи оба терпеть не могли. Сидя на врытой в землю скамье, Борис кормил с ладони вылущенными зернами подсолнуха замурзанного пацана. В широченной Борькиной ладони крепенькая бело-

волосая головка сына тонула полностью. Борька поднял глаза, кивнул, высыпал ребенку в рот все семечки разом, ссадил с колен, погладил по голове и сказал тонким голосом, странно модулированным вдоль фразы на совершенно неподходящих к тому словам:

— Иди поиграй, деточка. Мне надо с дядей поговорить.

Поднялся — большой, рыхлый, в исподней рубахе и низко открывающих живот штанах. . . Только несуразными движениями и напоминал он еще того худого нескладного парня из детства, который терялся, когда его вызывали к доске, но на спор однажды без спроса покинул посреди урока класс. Теперь Борька больше походил на своего дядю — человека-гору Ефремыча.

— Извини, я немного устал после ночной.

Он работал оператором на маслозаводе.

Анатолий, не отвечая, смотрел Борису в лицо. Мимо, басовито шаркая крылышками, пролетел шмель с желтым зеркальцем на брюшке. На миг Билуну показалось, это тот же самый — из их детства — шмель Шатка, гудевший здесь и два, и три десятка лет тому назад. И тот же воздух вокруг. Те же деревья и стены. Тем не менее, он их не узнавал. Или, если уж быть последовательным, узнавал, конечно, но именно так, как узнаешь незнакомого человека по описанию, внутренним чутьем. В этом большом рыхлом человеке с тонким голосом Анатолий тоже без сомнений узнавал Борьку — тот прорезался в хозяине этого домика независимо от воли обоих и от темы разговора. Здесь, под вишнями, к Анатолию точно возвращалось детство. Но детство чужое, подаренное ему щедро, от души, и все же им лично не пережитое, не оставленное позади во времени, а подкинутое извне, внедренное в сознание, в память, а не в душу и не в чувства. Навязываемое Билуну детство не было пережито, несмотря на еле заметный шрам на бедре — след давнишней игры в прятки, когда он впотьмах врезался в моток колючей проволоки, несмотря даже на память о заржавевшем конденсаторе, который Билун с великим трудом рассчитал когда-то для

радиолобителя Борьки — вон он до сих пор так и валяется на подоконнике. Нет-нет, все это произошло не с ним. Все здесь его и не совсем его, взятое, вероятно, из чьей-то жизни напрокат и теперь механически подсаженное ему в память. Себя здесь Анатолий не находил, не мог найти!

— Ты меня узнаешь? — спросил он Бориса.

— Что, в нынешнем сезоне шутка такая? — удивился Борька.

— Но ты не находишь во мне ничего странного?

— Странного? Чокнутый ты какой-то. Но этого всегда в тебе было вдоволь. . .

Анатолий не возражал. Раз Борька признал его, значит, так оно и есть, ему можно верить, он не ошибается, не умеет ошибаться. Борька не знает одного: что Анатолий примчался сюда обрести ясность и спокойствие — и не обрел. Прошрое, оказывается, не принадлежит ему. Память снова подвела, выдавая чужие воспоминания за свои. И значит, как ни странно, даже детство у него общее с кем-то неизвестным, с тем, от кого Билун с самого утра отгораживается волевой преградой.

Не стоило дальше обманывать себя, искать истину там, где она никогда не лежала. Прошрое — по крайней мере, малая родина и детство — не хранило тайны удвоения. И коли уж на то пошло, не было никакого удвоения, недовыздоровления и прочей чепухи. Дабы найти иную, столь же естественную причину сосуществования действительности и сна, надо было освободить дорогу тому, что до сих пор прорывалось нечаянно. Вот-вот Билун все узнает или вспомнит. Знакомый звук или запах — и он, наконец, заново обретет себя. Только теперь уже насовсем. . .

Анатолий полуприкрыл глаза, притушил барьер самовнушения, медленно стаявший, едва его ослабили с двух сторон. Помимо Борькиного дворика Билун тотчас оказался в саду Института космической медицины, и Альбина Викторовна держала его за руку. Рядом, оттянув тяжелой головой край гамака, глядела исподлобья рыжая боксерка Нэнси. Последние дни она выла по ночам, изрыла весь сад ямами. «К покойнику!» — говаривает при встречах

институтский сторож Никодим Электроныч. И отворачивается.

Анатолия знобило. Губы секла лихорадка. Но мысли фиксировались четко, сразу за обоих. Лихорадочные мысли, умноженные на два одинаковых сознания и разделенные между двумя одинаковыми телами. . .

ЛАДНО, ПРИВЕТ. . . ДОГАДЫВАЮСЬ, НЕ БЫЛО ВЫХОДА. . . СПОКОЙНО. . . ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ, ЗАКОНЧИТЬ РАБОТУ. ТЕЛО РАЗВАЛИВАЕТСЯ. . . НИКТО НЕ ПОМОГ. ДАЖЕ ГРИША. . . СТРАННО, ДОНОР САМОГО СЕБЯ. . . ЗОВИ БРАТОМ — КОГДА УЙДУ. . . УЙДУ? ТОЧНО? К СОЖАЛЕНИЮ! ИНАЧЕ СТАЛ БЫ Я СЕБЯ ЗАНОВО ЗАТЕВАТЬ. . . КАК ТЕЛО? НЕ ЖМЕТ? . . ТРУДНО ПОВЕРИТЬ. . . БЕЖАЛ ОТ СЕБЯ. . . ДАЖЕ В ДЕТСТВО. . . ПРЯТАЛСЯ КАК ДУРАК. . . РАЗВЕ ОТ САМОГО СЕБЯ СПРЯЧЕШЬСЯ?

Спор с самим собой: одна половина проникнута подавленной завистью, другая — неуверенна и жалостлива. Вместо того чтобы обрести себя нацело, сознание снова разложилось на два скрещающихся потока мыслей. Кое-что не затрагивалось, не договаривалось, однако окрашивало мысли созвучием чувств. Вопрос и ответ почти сливались, вопрос едва не обгонял ответ, объединение ощущений нарастало, ускорялось, уже трудно было различить, кому какая мысль принадлежит. Даже непостоянное «ты» в обращении к другой половине потихоньку скрадывалось, заменялось размазанным двуликим «я». . .

КАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ?.. НУ, ПОМНИШЬ, Я ВЫСТУПАЛ С ЗАКРЫТОЙ СТАТЬЕЙ ПО ПОВОДУ ЭФФЕКТА БРАТЬЕВ ШАРАПОВЫХ?.. А, ЭГОТРОН. . .

В уголке памяти, калачиком свернулось воспоминание о том, как на отзыв в лабораторию направили шараповское изобретение: «Метод перезаписи личности путем поатомного адекватного дублирования на эготроне». Биологу Билуну нечего было противопоставить безупречному построению доказательств. И все же подобные открытия надо уметь вовремя закрывать. . . Свои аргументы на запрет бесконт-

рольного дублирования удалось тогда заимствовать из области этики — кого не испугала бы возможность неограниченного продления жизни с любого неперед заданного момента!

Надо же, чтобы по иронии судьбы именно ему пришлось такой возможностью воспользоваться! Он списался с Арктаном Шараповым тогда, когда уже все способы лечения были исчерпаны и врачи отступились. Больших трудов стоило склонить на служебное преступление Гришу Лукконена. Гришины опыт и логика протестовали против парадокса: подмена вместо исцеления. На счастье, он усмотрел в шараповском феномене перспективы для космической медицины, а ради медицины Гриша был готов на все. Построили эготрон. Сняли матрицу с умирающего тела Билуна. Внесли коррективы. И пустили в свет новенький дубль Анатолия Сергеевича. Память пришлось чуть-чуть выщипать, особенно последнее полугодие. . .

Знобило все сильнее.

Анатолий передернул плечами.

— Зазяб? — удивился Борис. — Может, стопочку домашней с дороги?

Альбина Викторовна губами коснулась его лба:

— У тебя жар. И беспокойство. Ты о чем думаешь?

— Ах, оставь, ерунда! Скоро пройдет! — одновременно ответили оба Билуна в Борькином дворе и в Свердловске.

И оба поняли зловещий смысл слова «пройдет». И оба покачали головами.

СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ?.. СОВСЕМ ПУСТЯКИ... ПЕЧЕТ...

Для описания боли не требовалось слов. Она равномерно разделилась между двумя телами, разбавленная легкостью и тем наркотическим возбуждением, которое не дает умирающему иллюзий. Половиной сознания предстояло пройти через смерть. И выжить с непотревоженным разумом!

УСПЕЮ ПРИЕХАТЬ?... ВОТ ЕЩЕ, НЕ НАДО, НАС НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ ВМЕСТЕ...

Часть мыслей, привязанную к Свердловску, затулило дымкой. словно он там опомнился и решил оборвать контакт.

Но теперь Анатолий не боялся правды, был готов к борьбе, был готов выйти против всего мира, даже против самого себя, догорающего первым телом в саду Института космической медицины. Он усилил прием, вновь добился совпадения восприятий. И качнулся от боли. Напрягся. Преодолеl. Помог преодолеть второму, вернее, первому себе в Свердловске. Нэнси лизнула руку и полезла под ладонь холодным морщинистым носом.

«Я тоже обязан быть рядом», — твердо подумал Анатолий.

Эта мысль родилась уже где-то на третьем уровне сознания, закрытом от приема в Свердловске: на втором велся мысленный диалог, первый, самый поверхностный, был оставлен для Бориса с его ленивыми вопросами и необязательными ответами. Ночная фиалка, сложившая на день лепестки, еле пахла, смешиваясь с нежным ароматом жасмина в Свердловске, оба запаха без труда забивал назойливый шиповник... Под Ленинградом ягоды шиповника крупные, круглые, почти безвкусные и безобидные, здесь же мелкие, удлинённые, сладкие и с ужасно кусачими семечками — если насыпать за шиворот, семечки въедаются в потное тело, только в речке и можно спастись от злой украинской шипшины. Такие же въедливые и колкие бьются в голове свои-чужие мысли...

ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОДОЛЖЕНИИ ОПЫТОВ «ЧЕЛОВЕК В ДВИЖУЩЕМСЯ МИРЕ». ХОРОШО, ЧТО УМИРАЯ, ОСТАЮСЬ. ПЕТРУЧИКИ ДОВЕДУТ ДО УМА ЛЮБУЮ ИДЕЮ, НО КОМУ-ТО ВЕДЬ НАДО ИХ ВЫСКАЗЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ ВОТ ТАК УМЕРЕТЬ — РАСПЫЛИТЬСЯ, КОЛИ УЖ ПОВЕЗЛО... ХОЧУ СВОИМИ... ТВОИМИ РУКАМИ ДОБИТЬ РАБОТУ... ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ: ТЕБЕ — МНЕ УДАЛОСЬ ВЫКАРАБКАТЬСЯ... СМЕШНО И ДВУСМЫСЛЕННО ГОВОРИТЬ СЕБЕ «ТЫ»... ТЫ ЕЩЕ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ «Я», ЧЕМ Я БЫЛ СОБОЙ В ЛУЧШИЕ ГОДЫ... У МЕНЯ БЫ НЕДОСТАЛО МУЖЕ-

СТВА КИНУТЬСЯ НА ГУЖБАНА... ПРАВДА, В ЭТОТ МОМЕНТ НАС БЫЛО ДВОЕ... ТЫ РЕШИТЕЛЬНЕЙ И СВЕЖЕЙ... НЕ ПО ВОЗРАСТУ — ПО ДУХУ... ТЫ ВСЁ СДЕЛАЕШЬ КАК Я... ЛУЧШЕ МЕНЯ...

Самопризнание требовало встречной откровенности. Но какая откровенность (или сокровенность?) между двумя «я»? Не лучше ли прислушаться, чем оба друг от друга отличаются? Едва что-то такое забрезжило, Анатолий немедленно загнал мысль на сокровенный третий уровень...

Он понимал, что замыслен быть молчаливым продолжением мозга и тела умирающего в Свердловске Билуна А. С., доктора биологических наук, прославленного своими работами по динамической физиологии. Он, новый Билун, Билун-второй, призван из небытия для дела, которому уже посвятил двадцать лет творчества из тридцати четырех годиков заканчивающейся сейчас в первом варианте жизни. Он скопирован и исправлен и лишь по недоразумению несет в себе информацию о болезни, которой больше нет в теле, он запрограммирован на единственную задачу — завершить научные деяния доктора Билуна. Того Билуна. Которого в лаборатории прозвали АС. Всё просто. И несмешно. Он нашел себя, обрел себя в этом мире. И не в силах смириться с ролью собственной малоценной копии...

Доктор Билун — тот доктор Билун! — забыл, что мировоззрение дубля составляет не только то, что заложено в память сознательно, но и то, чего он заложить не мог, да наверняка и не хотел. Скажем, заключенную в теле скорую смерть. Трансляция личности на чистое поле откорректированного мозга рождала новое противоречие — предвзятость против однолинейной, распланированной будущей жизни...

ПОДОЖДИ ВСЕ-ТАКИ, Я ПРИЕДУ... НЕ СМЕЙ! ОСТАВЬ МНЕ НАДЕЖДУ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ НАПОСЛЕДОК В СЕБЕ...

Запах шиповника окончательно подавил ночную фиалку и жасмин. Анатолий поднялся, проводил взглядом возвращающегося той же воздушной тропинкой шмеля. Тревожный запах и тревожный звук. Звук и запах детства.

Мысленный диалог двойников уместился в коротком миге: Борис только-только начал медленный разворот толстой шеей в сторону примолкнувшего для него Анатолия.

— Слушай, тебе когда на работу? — опередил его вопрос Билун.

— Послезавтра. — Борис пожал плечами. — Я сутки работаю, четверо дома. Но сейчас один из наших в отпуске. . .

— Давай-ка одевайся, поедешь со мной!

Борис кивнул, ни о чем не спрашивая, и пошел в дом, рыхлый, невозмутимый, готовый, как в детстве, поверить другу молча.

Анатолий опять использовал право на монорейс. Всю дорогу до вокзала и потом в вагоне болтали о пустяках. Но соединенный со Свердловском широкой полосой восприятия, Билун вторую половину сознания, не занятую Борисом, сосредоточил на Альбине Викторовне. Не надо было делать усилий над собой — свердловское «я» держало мысли об Але под четким контролем. Будто спешило завещать Анатолию все чувства.

Мужчина мечтает стать первой любовью женщины. Женщина — его последней любовью. В этом смысле мечта Альбины неожиданно и страшно претворилась в действительность: безнадежник Анатолий был совсем не жилец на свете, он не успевал ни на какую иную любовь, кроме временной любви к ней. К сожалению, осознание этого факта пришло слишком поздно: для Альбины после его смерти наступало окончательное и безрадостное одиночество, двусмысленное положение вечной вдовы. Некрасивая, лишенная привлекательного для мужчин обаяния, она к тому же отпугивала людей неровным сложным характером. Немногие умели разглядеть ее и разбудить.

То ли недоброта явилась следствием внешней непривлекательности, то ли, наоборот, черствость и истеричность натуры изгнали из внешности всякие намеки на обаяние, но давно уже Альбина отскорибила свое по несостояв-

шемуся счастьем, посвятила себя утешению безнадежных. Был у нее когда-то муж, случайный человек в ее жизни, да и в жизни вообще. Но об этом эпизоде она вспоминать не любила.

Безнадежники были разные. Безвольные и капризные. Или твердые, веселые, борющиеся до конца. Трудно сказать, какие устраивали Альбину больше. Но все были уже наполовину не здесь и ничего не заслуживали, кроме жалости.

Иное дело — Анатолий! Уходя, он оставался на Земле. Распадаясь под гробовой крышкой, в то же время бродил где-то далеко, здоровый и полноценный. Он не тосковал, не искал горячо ни рук, ни губ — еще, еще разок, может, на этот раз последний. Недоцелованный, он имел отсрочку до новой ласки. Умирая, оставался жить.

Но именно это больше всего и разрывало Альбино сердце. Уходил Анатолий. Оставался тоже Анатолий. Чужой. С Толиными глазами, лицом, телом и памятью. Может, он был Зойкин, судя по молодым жадным письмам. Может, еще чей. Но того дальнего, незаконного она уже возненавидела за то, что он отнял у ее Анатолия единственное право умирающего — умереть до конца.

Не щадя сжигала она своей любовью того, который был при ней, отнимала у него все силы и мысли. Пожалуй, последним ее утешением было злорадство: тот, остающийся, не знал и никогда ни узнает ее любви. Он даже ненароком не подумает о ней как о покинутой женщине.

Бедная, она не подозревала о телепатическом резонансе двойников!

В вагонах гравистрелы удивительно думается. Анатолий испытывал благодарность к неопределенности, разобщающей его на болтовню с Борисом и полупосторонние размышления о женщинах и любви. Неожиданное, как удар, упало вдруг затемнение над Свердловском. Вспухло, не помещаясь

в груди, сердце. Тело сделалось ломким, невесомым. Перед глазами пробежала рябь бесцветья. И затем в обнаженные нервы последним взрывом жизни впиалась болезненно-неподвижная и яркая, как при вспышке молнии, картина.

Пикирующее на землю лимонное с жилками облако, наискось перечеркнутое червонной иглой институтского здания.

Остановившееся мгновение ласточки поперек неба.

Опрокинутые ладони лиственницы с растопыренными зелеными пальцами.

Синяя треугольная ямка, накопившаяся под нижней Алиной губой.

Голубая развилка жил у нее на руке.

Силуэт вздернувшей голову безмолвно воющей собаки.

Изумрудная стрекоза на былинке — в глазах сотни удивленных солнц.

И рухнувшее в безмолвие и мрак стоголосое: Аааааааах!..

... Сначала вернулось восприятие плоских изображений с резко очерченными контурами. Постепенно предметы наполнились объемом. Под потолком плавало деформированное, как в зеркальном боку чайника, Борькино лицо. У горла рвали ворот чьи-то неуклюжие пальцы. Сквозь толщу воды или банный пар доносился грубый неразборчивый голос. Потом прорвало, будто магнитофонную пленку ускорили: в ушах сложился неприятный визгливый вопрос:

— Что? Что с тобой?

— Тише! Я умер! — отмахнулся Анатолий.

И ни на миг не застыдился под бабьим, слезливым, по-собачьи скорбным и преданным Борькиным взглядом.

В Свердловске на пяточке их уже ждал вызванный с дороги двухместный винтороллер. Не умея остановиться, прозрачные лопасти трепетали на ветру. Анатолий влез, подождал, пока Борис, кряхтя, поерзал в кресле, раздвигая податливые подлокотники. Протянул руку к пульту.

Первое побуждение набрать адрес Института Анатолий тут же и отбросил. С секунду покусал ноготь на большом пальце. И, подчиняясь гипертрофированной интуиции, включил настройку управления на собственное биополе. Винтороллер взмыл, описал полудугу и помчался, мелко рыская, как ищущий в зале спрятанную иголку гипнотизер. Внизу проплыли окраины города, озеро, зачернел какой-то лес или парк.

В легендах разных народов бытует странный мотив, будто ощущения покойника длятся еще три дня после смерти. Наука не может этого опровергнуть: шесть минут клинической смерти равны периоду полураспада нейронов мозга — через трое суток из десяти миллиардов клеток живыми остаются примерно десять штук. . .

Винтороллер провалился вниз и застыл на поляне. За кустами под кедром возилась кучка людей.

Анатолий медленно вышел из машины, уже зная, что здесь увидит. Разминаясь, с протяжным шумным выдохом вылез Борис. Люди на поляне не обратили на них внимания. Двое на утопанной площадке выкладывали пластины дерна, плотно пригоняя их друг к дружке. Третий разбрасывал с лопаты лишнюю землю под ближайшие пихты. Четвертый царапал кору кедра ножом. Поодаль, безучастно скомкав у подбородка черный платок, стояла Альбина.

Анатолий продрался сквозь можжевельник, споткнулся о поваленный ствол и, удерживая равновесие, нелепо пробежал, наклонившись, несколько шагов. Оставалось последнее не прикрытое дерном квадратное окошко. Он присел посреди жирной высокой травы, положил на это место ладонь.

Из травы, не замеченная им ранее, подняла голову Нэнси. Глаза ее были печальны и мутны, белая шерсть на груди свалялась клочьями. Он мог бы сейчас поручиться, что и нос у нее опасно горячий, воспаленный. Протянул руку. Нэнси села, чуть-чуть раздвинув уголки черных губ, обнажила клыки.

— Нэнси! — шепотом позвал Анатолий.

Она слегка заскулила, попятилась, залегла, утопив морду между лапами, у самой кромки упрятанной под дерном могилы.

Безымянной могилы, о которой никто никогда не узнает.

Лишь дата на кедре.

И пятеро свидетелей, поклявшихся молчать.

Анатолий медленно выпрямился. Под настороженными недоверчивыми взглядами отступил еще дальше, дал Грише Лукконену и Жудрову поставить на место широкую дернину, выровнять, замять края. Больше ни у кого не было дел, и Анатолий стоял теперь один против друзей умершего.

Его друзей.

Вот Гриша Лукконен, лечащий врач. Все перепуталось у него в голове, как в плохо оформленной истории болезни. Есть захороненное тело, но нет умершего, потому что мертвые не могут так привыкшись сверлить глазами живых, а живые зато не каждый день приходят на собственные похороны. Новое тело Билуна Лукконен знал так же хорошо, как и старое, даже еще лучше, потому что сотворил его вот этими руками. Но самого Билуна в этом знакомом теле еще не видел.

Вот Зенит Королев, мастер интерьера. Друг, так сказать, по призванию, соратник по совместительству. Ни один свой проект не выпускает без проверки в лаборатории Анатолия. Его недоверие к новому Билуну смешано с легким презрением и даже возмущением. Как смел этот самозванец явиться сюда в такую минуту?! Здесь имеет право быть только один Билун — тот, что лежит в земле. И никто никогда его не заменит, в какие бы похожие тела ни рядился. По крайней мере, лично для него.

И Жудров тоже здесь. Унылый скептик и вечный оппонент. На Ученом Совете, бывало, камня на камне от позиции Анатолия не оставит. А гляди-ка, явился. Привыкнув работать с мыслью Билуна, в борьбе с ним отыскивать истину, он не таит своего: ты мил-человек, пока еще просто однофамилец тому, под дерном. Как бы ты ни был на него похож и что бы там ни заложили тебе в голову — еще докажи свое право называться Анатолием Билуном!

По внешним признакам ты несомненно Анатолий. Но все-таки, как говорится, будем посмотреть.

Четвертого он бы не узнал, если бы не был подготовлен воспоминаниями. Арктан Шарапов, изобретатель эготрона, один из авторов метода дублирования. Ему не до морали, ему откровенно безразлично, кто на чьих похоронах присутствует и с какой целью. Зато совсем не безразличен результат столь необычно и чисто поставленного эксперимента. И он ревниво присматривается к рожденному химией и электроникой, и кивает, и одобрительно подмигивает. И еще более, чем Анатолий, интересуется реакцией друзей.

Наконец, опустившая голову Альбина, завещанная ему двойником и ему абсолютно не нужная. Женщина, умеющая быть столь невзрачной, что легче запомнить ее имя, чем ее саму. Она от всего отгородилась скорбью. Ее любовь умерла. А этот, похожий на Толю лицом и телом, — это брат, сват, ходячий памятник, в конце концов, просто чужой. Но не он!

По-разному относились они к умершему. Свое отношение им хочется целиком перенести на него — каждый мечтает увидеть в нем живое и полное воплощение известного им Билуна. Такого, каким они его знали, каким он сложился в их восприятии, к какому привыкли за долгие годы знакомства, дружбы, любви. Они согласны только на то, что делает его схожим с прежним Билуном, и не признают отклонений. Или — или. Другого не дано. Лишь Борис, сопящий ему в шею, не задумывается, кажется, ни о чем. Для него важно только их общее детство. Достоверное детство.

Пятеро против двух. Между ними не существующая для непосвященных, утопанная, замаскированная и все-таки жгущая ноги сквозь траву могила. Они стоят по обе стороны от нее, и никто не догадается поинтересоваться мнением самого Анатолия. Вот хоть бы ты, Зенит. Или даже ты, Альбина. Обо всем на свете позаботились. Но ни на секунду не усомнились в желании Анатолия унаследовать положение и неоткрытые открытия доктора Билуна — в благодарность за одно лишь право жить. . .

А ему, родившемуся вследствие ужасного самонения покойного, вовсе не улыбается иметь запрограммированное будущее. Хай гирише, абы инше! Тот человек, чьим посмертным продолжением он создан, уже прошел свой путь от младенчества до смерти. Его идеи, свято оговорив источник, разовьет коллега Петручик. А Юра Данилов поможет донести научный багаж. . .

Что же касается лично его, то если уж заниматься поисками, то он предпочитает быть простым лаборантом, лишь бы иметь право на самостоятельный путь и собственные ошибки. Он не возражает против того, чтобы начать сначала. Пусть на его долю достанется второй вариант жизни.

Считая с того момента, когда они разошлись с умершим Билуном.

Главное — это путь к себе, который проходишь от рождения до могилы у ног. Надо иметь мужество прешагнуть эту могилу. И доказать друзьям, что запасная жизнь — случайность. Не случаен лишь выбор. И поиск. И от того, какое слово будет сейчас произнесено, зависят дальнейшие отношения. А у него, дублера Билуна, еще ничего за душой.

Анатолий переступил через квадратики дерна, по границам которых уже начала расправляться трава. Нэнси вскочила и дожидалась его, распахнув по-человечески тоскующий взгляд и ошеломленно работая черным морщинистым носом. Коротышка-хвост вопросительно и еле заметно задвигался из стороны в сторону.

— Король умер, да здравствует король! — сказал негромко Арктан Шарапов.

В гробовой тишине попискивали трепещущие лопасти винтороллера.

ПОЛТОРЫ СОСУЛЬКИ

По случайной исторической прихоти Семихатки и впрямь состоят из семи шестисотэтажных домов. Почти на два километра ввысь город кипит садами, сводит меня с ума цветущими вишнями и каштанами.

Я не был в Семихатках три года. Собственно, я нигде не был три года. Месил ледянку. Или по-научному: совершал исследовательский дрейф внутри ледяной каверны. При всем желании это жизнью не назовешь. Недаром стаж там засчитывают год за четыре.

Улица все время падает вниз. В аллее под каштанами зябко, пахнет грибами, тут никогда не поймешь, какое время года. Зато в вишеннике охватывает вечной весной. Пронизанные солнцем лепестки парят в воздухе — белые, со снежными разводами и розовыми прожилками. Такой цвет появился у льда на стосемидесятый день пути — у места, которое я обозначил Горячей балкой. Казалось, не каверна пересекает жилу, а жила медленной цветовой волной течет по ледяной стенке из начала в конец пузыря. Именно там вымыло из склона приземистый валун, очень похожий на постамент: утвердись поверх — и готовый памятник. Я не удержался, приклеил на макушку валуна кресло, выбил надпись: «Ледовик Вадим Лыдьва». И дату — начало дрейфа. Потом уселся в кресло, принял подобающий вид, подпер рукой щеку. Камера-автоспуск зафиксировала этаким мужественный статуй в гребенчатом шлеме, в ребристом скафандре, в унтах с реактивными дюзами. И с навеки примороженной к губам улыбкой. Снимок я вложил в капсулу, начертил Жаннин адрес и выстрелил через четырехкилометровую толщу льда. Капсула зашипела и исчезла, оставив в потолке черную дырочку, источающую пар. Два дня дырочка не затягиваясь отступала в хвост каверны. На третий утонула в твердой розовой глубине. . .

Вечноцветущий вишенник оборвался внезапно — словно истаял под полупрозрачной глыбой арки.

Мы с Жанной вышагнули на цветной асфальт и очутились в тихой короткой улочке. По одну ее сторону тонко благоухали турецким кофе кофейные автоматы. В другую сторону я старался не смотреть: еще не встречались среди ледовиков ненормальные, которые бы полгода после дрейфа могли съесть хоть ложечку мороженого. Я невольно повернул к автоматам, но Жанна отрицательно покачала головой. Понятное дело, шесть чашечек кофе мы уже по дороге проглотили. . .

Улочка втекла на эскалатор — широкий, круто задранный, без перил. Не могу восстановить к нему привычки, невольно передергиваю плечами. Когда три года тому назад мы шли к Источнику, эскалатор тоже тащил нас, только не вверх, как здесь, а вниз, все вниз, бесконечно вниз, и я точно так же ежился — из-за жутких километров над головой, к которым притерпеться невозможно. Мы протаяли и вновь наморозили позади себя сотни перегородок. Еще бы! Академик Микулина больше всего на свете опасается за Источник: вот уже одиннадцать лет со дня открытия он исправно выдает нам раз в неделю по свеженькой каверне. Небольшой, метров на двести, пузырек отделяется от горловины Источника с ворчливым «пых!». Но мы не обращаем внимания на его дурной характер. И прежде, чем ему отправиться в странствия по складкам векового антарктического льда, втискиваемся с танком внутрь, когда пузырь проползает над люком стартовой камеры. Таинственными, неповторяющимися маршрутами гуляет в толще торосов каверна, непоседливая пустота в тверди. Ну, а мы, наблюдатели-ледовики, по очереди болтаемся внутри нее и вместе с ней. . .

Жанна сжала мой локоть и указала на неторопливого седого человека с пришаркивающей и чем-то знакомой мне походкой. После трехлетнего затворничества все в мире выглядит одинаково знакомым. Или одинаково незнакомым. Но этого человека, я, по-моему, никогда не видел, клянусь Источником, и вопросительно поднял бровь.

— Это же Ермилов! — укоряет жена.

— Вот так да! Не узнать Ермилова! — бормочу я без тени смущения, не представляя себе, кто такой

Ермилов. Льды великие, да мало ли Ермиловых на свете? С одним, помнится, я даже в школе учился. Но это не тот. Не мой. Мой лет на сорок моложе. Да и не похож.

Фамилия между тем рождает невнятные воспоминания. Головная боль. Бум. Бревно под чешками гладкое, скользкое, чуть дрожит. Стараясь поустойчивее утвердиться, припечатываю ступню. Напротив пританцовывает вертлявый, конопатый, обезьянистый — его всю перемену никто не может сбить. Вся надежда на меня, бугая. Снежанка среди зрителей болеет молча, вроде бы нехотя. И неизвестно, за кого. А вот Кутасова — та глаза зажмурила и колдует на весь зал:

— Ну, Лыдик же! Ну, родненький! Ну, дай ему!

Эх, любую бы половинку этой фразы — да в Снежанкины уста!

Позади каждого из нас — подмена. Правда, за мной целая вереница, а за обезьянистым один Митька-Мезон, да и тот безнадежно заскучал. Если уж я этого непобедимого не достану, фиг Митьке выгорит сегодня хоть с кем-нибудь сразиться. Я один могу. . . И мне никак нельзя уступить. Ведь среди зрителей Снежана!

Балансирую левой рукой, обманные движения делаю тоже левой, правую берегу для удара. Мимо пролетает ладонь моего друга-соперника. Отклоняюсь. Теперь чуть толкнуть в незащищенное плечо. . .

Зачем-то я поднял глаза. Знал, что на Обезьяныша нельзя смотреть, все время остерегался. И вот забылся, взглянул. И поплыл в растерянности: передо мной качалось в воздухе мое собственное лицо — закушенная губа, взъерошенная бровь, мокрая челка, капельки пота на переносице. А я уже ничего не могу поделать. Толкнул себя. Себя! Потерял равновесие. . .

И со всего маху шибанулся головой в бум.

Бум-м! Тихое гудение в долгой-предолгой ночи.

И меня снова, в точности как тогда, в шестом классе, окутал мрак. С трудом выдираюсь из него. И осознаю себя сидящим на скамье на Семейной набережной. Видимо, несколько минут пути я упу-

стил. Нет ни кофейных автоматов, ни Ермилова. Жанна, ничуть не обеспокоенная, живо повествует про Отелло. Бедняжка, она не догадывается, что я убежал от нее в детство!

После дрейфа я еще не вернулся к норме — полностью воспринимать человеческую речь. Выхватываю отдельные фразы. И то, чувствую, зашкаливает. Зря Жанна про Отелло. Отелло сейчас нам ни к чему, не уместается он во мне, хоть заледеней! Мавр связан с голым солнцем, с небом, от которого я отвык. . . Вышел вчера на балкон. И отступил: показалось, сиолитовая решетка вот-вот растает на жаре как ледяная, и я рухну с пятисот сорокового этажа. . .

Не знаю, на каком этаже Семейная набережная. На третьем. Или на сотом. Город выстроен каскадами, все его мостики-карнизы-террасы утопают в деревьях. Ни один ярус не затеняет расположенного ниже. По вполне натуральным склонам и пандусам хорошо зимой скатываться на санках. А то и просто кубарем, на чем повезет.

На скамье у парапета пусто, неощутимый вихрь гоняет по сиолиту белый лепесток. Следом, со всхлипом засасывая воздух, семенит урна. За нашими спинами дышит и светится река. Над головами тлеют желтые каштановые свечи. В точности такие, как сосульки Зыбучего плато. Округлые, упитанные, свисали они с жадного пористого потолка, сквозь который каверна просачивалась без остатка. Пол дыбился, скручивался, грозил сомкнуться с потолком. И я метался, пригибаясь, чтобы не сбить сосульки шлемом (почему-то мне казалось в тот момент чрезвычайно важным — не сбить сосульки!), лихорадочно зашвыривал разбросанные вещи в танк. . .

Оттопырив «сковородничком» нижнюю губу, Жаннадохнула на полировку парапета, пальцем вывела на затуманенной глади: «Мир в себе!».

МИР В СЕБЕ. Девиз ледовиков.

Потому что каждая каверна — это индикатор тайны, вещь в себе, переворот в физике изученного-переизученного льда. Гляциологи лишь руками разводят из-за его сумасшедшей упругости и прочих несуразных свойств. А у нас и на это времени не остается. Шутка ли, пятьсот семьдесят две каверны

за одиннадцать лет! Это же пятьсот тридцать четыре дрейфа, семь пропавших без вести наблюдателей, два испарившихся робота класса «Мохо» и километровая воронка на месте стационарной зимовки Антар. Это по меньшей мере тысяча тайн, включая самую главную — Источник, невесть откуда взявшийся, пускающий раз в неделю пузыри. . .

А еще потому, что ледовики уносят с собой в дрейф всю-всю нашу Землю. Вот и получается МИР В СЕБЕ.

У Снежанки красивая редкая фамилия: Белизе. Она не захотела ее менять. Кожа у Снежанки на щеках и на шее белая, просвечивающая. Зато глаза черные, с тяжелым влажным светом. И волосы черные, электрические: проведешь ладонью — в ладони горсть искр. До шестого класса я притягивал из-под парты магнитом ее косички, и они послушно ползли ко мне, как живые. А в шестом классе я нечаянно заглянул в ее глаза.

Ночь перед вылетом к Источнику выдалась душная, синяя, разрываема телевизионными проблемами далеких зарниц. Не ощущалось никакого движения воздуха — как в аквариуме. Пахло нахохленными деревьями и грозой. Тучи цепляли боками распахнутое окно, оставляя в комнате быстро тающие клочья тумана. Но свежести не несли. Даже подушка была жаркая и тяжелая. Я ткнулся носом в сгиб Жанниного локтя, перламутрово белеющего в темноте. Кожа у Жанны всегда сухая и прохладная. Сам я обливался потом и все отодвигал и отодвигал от жены свое липкое тело.

— Закрой окно, молния влетит! — попросила Жанна.

— И застанет тебя в таком виде. . . — Я тихо провел пальцем по ее ключице.

Груды у Жанны маленькие, по-восточному широко расставленные, ложбинка между ними едва угадывается. Темно. Но мне сейчас достаточно и света зарниц.

Жанна распрямила руку, впадина на внутренней стороне локтя пропала. А кожа перламутровая, прохладная, со слабым мятным привкусом. . .

— Прожили старик со старухой шесть лет и два

месяца, и не дал им бог детей. — Жанна повернула ко мне тревожное лицо, опухла ресницами бездонный, с тяжелой искрой взгляд. — «Слышь, старый, — говорит бабка, — сходил бы в лес, березовую чурочку вырезал. Я, слышь, в тряпицу заверну, вынянчу. . .»

— «Подумал старик, подумал, — подхватил я, окуная в ее волосы ладонь и прислушиваясь к электрическому треску, — вышел ночью во двор, чтоб соседские ребятишки не укараулили, на смех не подняли. Да и слепил бабке Снегурочку. Белую, стройную, совсем живую. . .»

— Вот еще, Снегурочку! — Жанна фыркнула и придвинулась. — Довольно с нас одной Снежаны!

— А мы ее Юлькой назовем, Июлечкой. Пусть жаркая будет, как июльская гроза, хочешь?

Не поймав ее взгляда, я потерялся щекой о ее подбородок. Она закрыла глаза и откинулась на подушке. . .

Каштан обронил желтую свечку. Падала она долго и вкрадчиво.

Мимо нашей скамьи с озабоченными лицами прошагал детский сад. Мы с Жанной не сговариваясь одновременно поднялись, двинулись следом. Перешли мостик. На той стороне, на пляже, малыши сбросили костюмчики, и вода закипела, забормотала-запенилась от золотистых тел. Три воспитательницы трогательно хлопали вокруг, непостижимым образом ухитряясь поспевать к каждому. И все же одного проворонили: вольнолюбивое трехлетнее чадо неожиданно прилично плавало. После долгого нырка оно показалось метрах в пятидесяти, у поворота реки. Течение здесь было слабеньким, но за излучиной, помнится, начинался пережат. Мало-помалу чадо продвигалось вперед, плывя на спине, работая одними ногами и в задумчивости посасывая большой палец.

Мгновенно детей выдворили на сушу, закутали в полотенца. Я и молоденькая воспитательница по противоположным берегам кинулись вниз. Я — молча. Она — беспрерывно выкликая: «Оля, баловница, куда направилась? Плыви назад, тебе до обеда еще цветы поливать и не опоздай на спевку. Гляди, Ольга, все про твои фокусы папе расскажу. . .»

Такая молоденькая и такая зануда, беззлобно подумал я, прибавляя шаг. Судя по деловому характеру причитаний, не очень-то воспитательница тревожится за беглянку. Привыкли, понимаешь, в своем мире к беззаботности, мол, ничего плохого ни с кем приключиться не может. . . Или. . . Или память мне изменила и в действительности за излучиной никакого переката, но все-таки лучше б не рисковать. . . Весьма шустрая девица эта Оля. Моей Юльке было бы теперь почти столько же. Точнее, два года и три месяца.

Если бы, конечно, она родилась.

Совсем чуток мы опоздали. За минуту до излучины старик Ермилов извлек беглянку из воды и уже нес на руках навстречу.

«Острая реакция. Острой моей», — автоматически отметил я, глядя, как крепко охватила его руками девчушка. От мокрого тельца рубашка Ермилова напиталась водой, капли, наверно, и за шиворот текут. Я непроизвольно pokrutil шей, как бы отодвигая от себя липкий воротник.

— Здравствуйте, — поздоровался я, когда старик поровнялся со мной. Не иначе дед с внучкой. Глаза синие, ресницы одинаково загнуты, нос в конопушках. Отпределенно похожи. — Не тяжело? А то давайте помогу

— Спасибо, Лыдик. Не беспокойся, справлюсь.

.Характер у каверн непредсказуем. Мы напичкиваем их приборами, лезем внутрь с реактивными унтами и танками. А удалось достоверно измерить лишь скачок магнитного поля на границе двух сред. Ни тебе маршрута, ни причины появления, ни даже свойств. Не говоря уж о самом любопытном: каким образом бродяге-пузырю удастся раздвигать и бесследно смыкать за собой прессованные толщи льда? И ведь что ни каверна, то новый вопрос, новая тайна. Скажем, моя Малышка, четыреста метров по большой оси. Вылупилась на два дня раньше вычисленного срока. Как назло, мой напарник Рутгарт подвернул ногу, а дублер, естественно, не подоспел. Пришлось рисковать одному. Не скрою, руководитель дрейфа намекнул на мое право переждать цикл, никто еще не уходил в ледовый вояж в оди-

ночку. Но я решил, за четыре-пять месяцев, обычный срок существования каверны, не похудею. И настоящ на своем. Чего в общем-то от меня и ждали. Мог ли кто-нибудь предположить, что Малышка окажется прямо-таки чемпионом-долгожителем? Она гуляла подледными лабиринтами целых три года! Когда я выстрелил наверх последнее донесение, то выяснилось, что я уже месяц полным ходом плыву внутри полого айсберга по Индийскому океану. Конечно, это наверху выяснилось, я-то там ни сном, ни духом. . . Высвобождаясь, каверна вдребезги разнесла айсберг. Тогда, разумеется, и для меня открылась истина, дрейф окончился, еле-еле успел я укрыться в танке. Ох и мороки было перепрограммировать танк для взлета с воды, спаси нас наука от незапланированных приключений!

Бум-м! Вспомнил. Тот Обезьяныш на буме — Только Ермилов. Он же Тольд Радужка, он же Толлер-Клоун. По желанию публики Радужка легко синел, краснел, зеленел, желтел и принимал два десятка иных, несвойственных человеческой коже оттенков. Клоуном же его прозвали за то, что он без труда передразнивал кого ни попадя. У доски учителя поворачивали Тольда носом в угол, иначе он буквально терял облик: в лице Клоуна смешивались все лица соклассников плюс пародийно вылепленная, трепещущая в преувеличенных ужимках маска преподавателя. . .

— Решено, мы идем на «Отелло»! — прервала мои воспоминания Жанна.

— Хорошо, раз тебе так хочется.

Мне лично все равно. Хоть на Отелло. Хоть на Скаржинского. А хоть бы даже и на Лейта Кенарева, плута с Плутона. Театр вообще-то неплохая штука. Я люблю театр. Жаль только, там много говорят. . .

— У, полярный медведь, морж толстокожий, совсем одичал во льдах! Скорей бы тебя отогреть. . . — Жанна поднялась на цыпочки идохнула теплом куда-то мне за ухо.

Интересно, кто выдумал, что льды холодные? Льды бывают разные. Горячие. Зыбучие. Цветные в крапинку. Есть зеркальные с прищуром. Поющие с эхом. Даже газированные. Даже незамерзающие.

Льды раскрываются лишь тому, кто без них так же не может жить, как не может жить без гор альпинист.

Между прочим, Снежанка для некоторых тоже холодная. Почти ледышка.

— Тебе правда нравится мое имя? — взяла она меня в оборот уже, кажется, в восьмом классе.

— А тебе?

— Честно? Ни капельки не нравится. Оно морозное на слух. Для кого первый раз — мурашки по спине.

— Неправда. И не мучайся пустяками! — попытался отмахнуться я. — Имя и имя, в расшифровке не нуждается. Всю жизнь таскаю свою фамилию Лыдьва — и не ломаю головы, что бы оно такое значило!

— Нет-нет, не спорь. Морозное.

— А для меня так самое жаркое на свете. Снежана Белизе. Тепло, даже горячо. Произнесу ночью — и щеки горят.

— Значит, никогда со мной не озябнешь?

— Никогда! — торжественно пообещал я, не понимая, почему она относится к этому так серьезно, и надеясь свести дело к шутке.

— Докажи! — не унималась Снежана. — Докажи, если такой храбрый!

— Пожалуйста. Клянусь посвятить твоему имени жизнь. Хочешь, уйду в полярники, буду зимовать подо льдом и под снегом?

Может, я поступил опрометчиво, ведь Источник еще к тому времени не проявился. Но не пожалел ни разу. Со Снежаной тепло. . .

Две первоклашечки в оранжевых бантах и с такими же оранжевыми, огромными, как арбуз, апельсинами шепотом хихикнули:

— Мороженщик! Полторы сосульки!

Слух у меня ой-ой! У Голодной Скვაжины я слышал, как беззвучно заливал ноги жидкий лед. Молочный, клейкий, маслянистый — вроде зубной пасты, — но все же лед под большим давлением, лед, который выжимался из щели и схватывал скафандр, мгновенно смораживаясь в кристаллическую глыбу. Реакция на холоде замедлена. Лишь через секунду я включил обогрев, а затем двигатели — хорошо,

не перепутал, не включил наоборот, меня уже обжало до пояса. Тяжелые круги шли по поверхности сметанного месива. Ленивые жирные буруны вздувались и лопались, обдавая клубами туманного инея. Лед на ходу превращался в скалу и столбом вытягивался следом, постепенно отпуская нагретый скафандр. Потом, уже наверху, после моего возвращения, Рутгарт страшно веселился, изображая в лицах, как разбушевалась тут академик Микулина, прокрутив в полипроекторе мое внеочередное донесение: «Мальчишка, понимаешь! Сонный кукушонок! Размечтался, понимаешь, забыл вставить ленту, проморгал звук!» А звука как раз не было, одно слабенькое сипение: жидкий лед проглатывал и рев унтов, и неизбежный свист просачивающегося пара, и даже, на мое счастье, растерянный скулеж негибкого ледовика.

Смущенные моим молчанием и неподвижным взглядом, первоклашки попятились. Я улыбнулся им. И, кажется, добил окончательно. Девочки одинаково трянули оранжевыми бантами. И катапультировались прочь. Мороженщиками нас называют за веселых пингвинов, вышитых на рукаве. Но я ведь без формы. Не на лбу же у меня профессия нарисована!

Как-то в шестом или уже в седьмом классе играли кружком в волейбол. После удачной свечки Толька Ермилов этак бочком подшагнул к Белизе, пропел: «Ах ты, моя дорогая, ах, золотая!». И качнулся, намереваясь обнять. Не мое, конечно, дело, тогда еще мне Снежанка не нравилась, история на буме случилась гораздо позже, но меня потрясли его. . . нет, вовсе не его, а какие-то дикие, чужие Ермилову руки: нелепо растопыренные, угловатые, непропорционально короткие и хилые у плеч, будто целиком ушли в грубые толстопалые кисти. Страшная безразличная воля двигала этими руками, им было все равно, лелеять или комкать, ласкать или вытряхивать душу. Собственные Толлеровы руки совсем другие — гибкие, тонкие, пальцы тоже гибкие, тонкие, хоть в иголку вдвай. Уж никак не эти растопыренные клешни, скорпион над жертвой. . . Вот такая она, зависимая ермиловская память: за кого зацепится, того Толлер из себя и вылепит! В общем,

взлетели дурацким чужим жестом эти клешни — и не коснулись Снежанкиных плеч: одна звучно шлепнула хозяина по щеке, другая приклеилась к затылку. И хотя, повторяю, тогда еще мне Снежанка не нравилась, я во что бы то ни стало решил спасти ее от угловатых, не-ермиловских объятий. Принимая мяч, я удачно вклинился между Ермиловым и Белизе.

Нет, не в седьмом, в шестом это было. Точно, в шестом, в мае. . .

У театра толпа. Билетов нет. Естественно, «Отелло»! С Ермиловым! Гвоздь культурной программы! Жанна поджимает губы, мрачнеет, лицо ее становится несчастное-несчастное. Жаль ее огорчать. Протискиваюсь к кассе. Шалею от шума и разговоров, особенно от разговоров. Люди слишком быстро думают и много болтают, мне за ними не поспеть. Но я тоже включаюсь, сыплю наугад словами. Всем сразу. И потому никому персонально. Позвольте пройти. . . Что вы, девушка, разве я похож на владельца лишнего билета? Вон, по-моему, у того молодого человека есть. . . Ах, уже спрашивали? И что? Сочувствую. . . Товарищ администратор, две контрамарочки, пожалуйста, вот мой Золотой пингвин. Разумеется, из брони, если вы не возражаете. . . Нет, за первый дрейф не дают, за второй присуждают серебряный, так что этот за третий. . . Спасибо, оттаиваю. Привыкаю, говорю. Вы очень любезны, за третий дрейф третий ряд, совсем недурно. . . То есть что я такое болтаю, это именно то, о чем я мечтал. . . Извините, товарищи, опять я. . . Увы, девушка, он не лишний. Да, вы опоздали примерно на девять лет. . .

Фу, вырвался. С облегчением умолкаю. Остальное за меня договорит Жанна. . .

Поверх голов мелькает седая, гнездышком, шевелюра. Лица не разобрать, но я почему-то и так догадываюсь: Ермилов. Перед ним расступаются, он идет прямо на нас с Жанной. У меня замирает сердце. Чего привязался? Другого места на все шестьсот этажей не нашел? Кем, интересно, доводится сей заплесневелый патриарх моему бывшему однокласснику? А ежели никем не доводится, то как вызнал наши школьные прозвища?

— Жан, как думаешь, удобно провести с собой этого. . . Ермилова?

— Куда? В театр? — Жанна улыбнулась. — А чего, это идея, попробуй. Проводи за кулисы, у занавеса покарауль. . .

В словах ее какой-то подвох.

— Отчего не помочь ближнему? — бормочу я, оправдываясь. — Пусть тоже случаю порадует. . .

— Да ты, милый, никак всерьез? Ну, знаешь! — Жанна вырывает руку. С минуту вглядывается в меня и начинает хохотать. — Определенно, вымораживание способствует раннему склерозу. Да тут все собались ради этого Ермилова, понимаешь? В том числе и мы с тобой. Понял, чужак?

Я морщусь. Нашла чудака. Да еще прилюдно. Кое-кто вокруг смущается и тактично отворачивается — не хватало только попасть в свидетели семейной сцены, это ж верх бестактности!

Успокоившись, Жанна быстро проверяет уголки глаз. Скашивает нижнюю губу и дует вверх, на глаза, осушая ресницы. Потом подробно объясняет. Дескать, древний Ермилов и есть наш знаменитый актер, волшебник перевоплощения. Я не возражаю. Но и одобрения не выказываю. Пришла же человеку в голову блажь прославиться на старости лет!

. . . Однажды мою Малышку затянуло в кольцевой туннель. А может, просто закружило на месте. Я понял это, когда изо льда четвертый раз выступил вогнутый гранитный скол, похожий на ракушку. Вытащил я знаковый пистолет. И донышком светящихся дюбелей выбил первое, что пришло на ум: «Привет из Сочи!» Меня болтало мимо этого привета двенадцать раз. Думал, никогда не отклеюсь. . .

. . . У Тольда Ермилова была препротивная привычка — ораторствовать. И кто его ужалил в ту перемену? Вскочил на парту и заорал:

— Братцы-сестрицы, не могу молчать! У Лыдика не все дома. Он взял распределение в Антарктику.

Снежанка равнодушно отвернулась к окну.

— Это предательство — уклониться от экзамена в межзвездную. У него единственного из всего класса бесспорный шанс. Никто не давал ему права пренебрегать интересами человечества.

Мой шанс — бычья сосредоточенность. И, разумеется, память. Но кого это волнует?

— Ха! — сказал я с вызовом. — Стихия Вадима Лыдьвы — вечная мерзлота, зимовки и штурмовки, заносы и торосы. А также снежное равнодушие. И одиночество. Недаром полярников приравнивают к космонавтам.

— Глупость твоя стихия. Непроходимый эгоизм!

Этого ему не следовало говорить. Тем более при Снежанке. Да если бы даже здесь Снежанки и не было. . . Друг, называется. . .

Соперники почему-то всегда вычисляют друг дружку. Мне, например, никто про Игоря Кулиничева не докладывал. Между прочим, и про Рэрика Зубарева тоже. Правда, ни тот, ни другой меня не беспокоят, Снежанка равнодушна к обоим, я четко улавливаю это ее равнодушие. Другое дело Тольд Радужка со своим клоунским проникновением в душу. Тольда я откровенно боюсь. Преданность его прилипчивая, пронзительная, хочешь, не хочешь — не устоишь. И подражает Тольд всем так здорово, что невольно начинаешь сам ему подражать. Мне иногда кажется, я и в Снежанку-то из-за Ермилова влюбился. И догадался, что нравлюсь ей, тоже по нему. Достаточно было раз увидеть, как неосторожно совместились в Толлеровом лице оба наших лица. Не думаю, чтобы ему было приятно таскать в себе нас обоих!

А все же он зря про мою глупость сморозил. В иное время я бы и ухом не повел. Но после моей клятвы. . .

— Спросите лучше, куда он сам документы подал! — предложил я, не скрывая издевки. — Тоже мне, Марсель Марсо!

Я знал, куда бить: на право зваться Марселем Марсо мимы всего мира каждый сезон проводят специальный конкурс. . . Пришлось опустить глаза — взгляда Тольда я бы не выдержал. . .

В реальность меня вернул шум зала. Места у нас с Жанной отличные, партер. Можно даже телеувеличитель не ставить. На меня оглядываются. Но неназойливо, вполглаза. Какая ни на есть, а слава. До меня в каверне больше полугода никто не хаживал.

вал. Тем более в одиночку. Репортеры изводят меня вопросам: «Ну, а сами вы, Вадим Тарасович, как считаете: наука это или спорт — ваше ледяное отшельничество!» И я теряюсь. Разве одним словом обозначишь? Всего хватает. И науки. И спорта. И подвижничества. И самую малость мистики. Одним словом, рекордный дрейф.

— . . .Белизе, что вас так привлекло за окном? «Весна», — мог бы ответить я за Снежану.

Но за окном, помимо весны, Обезьяныш. Качается на тоненькой ветке, передразнивает. Тольда выдворил из класса литератор. За подсказку. А где написано, что изображать собой Печорина — подсказка? Разве человек виноват? Литературные портреты сами липнут к нему. Да и попробуй этого Печорина не изобразить, если Кутасова битый час бубнит про «героя нашего времени» и про «образ лишнего человека в творчестве Михаила Юрьевича». Впрочем, сочувствовал я Тольду ровно до тех пор, пока он не начал из-за окна со Снежанкой перемигиваться. А уж тогда разозлился, показал ему кулак. После уроков подождал:

— Слышь, Радуга, я тебе сейчас все цвета перемешаю!

По залу прошелестел шепоток. Оказывается, занавес давно подняли, появился хваленый Ермилов в роли Отелло и вконец меня разочаровал. Держался он не очень уверенно, рядом с венецианцами как-то сразу сник. Все время к чему-то прислушивался. Мямлил. Поминутно озирался. Заглядывал партнерам в глаза. И со светопластикой был не в ладах: прошагал сквозь дерево, вломился в клумбу, оперся на угол дома, продавил его и реплику начал из-за стены, даже не заметив этого. . . Если все это считается новым прочтением шекспировского текста, то увольте, я человек старой закалки, я к такому не привык. Никакой актерской гениальностью тут не пахло. Пахло серостью. Обыкновенной сценической пошлостью. И конечно же, повальным и напрасным ослеплением зрителей. Уж если толпа избирает себе кумира, то развенчивает его нескоро.

Я покосился на Жанну. Жанна затаила дыхание. Сосед слева, наоборот, ворочался и зевал. Кто-то

вперед кашлял. Попискивали телеприставки. Вообще в зале было шумно. Может, поэтому я не мог потушить в себе высветы памяти и метался по дням и годам, не особенно задерживаясь на конкретных воспоминаниях.

Совместный заплыв в Черном море людей и дельфинов.

Цветные росчерки ежегодного космического салюта на фоне звезд.

Веселая мамина радость от того, что я никуда с Земли не экзаменуюсь, а попросился в Антарктиду, от дома рукой подать. Зато потом, когда Сережка Петерссен предложил себя в первый дрейф, мама примчалась в стационар при Источнике и на глазах у всех ледовиков сначала расплакалась, а потом выдрала меня за волосы.

У Жанны за левым ухом две крохотные родинки. Словно двоеточие. Странно, сколько раз сюда целовал, пока заметил. . .

В четыре года, набив карманы конфетами, я сбежал из детского сада в Беловежский заповедник. Медведи меня не трогали: я кормил их конфетами, они меня — медом.

Отец так и не дозволялся порыбачить на Брэд-бери-II — Жанне долго не давали отпуска, а затем мои три года в Малышке. . .

После выпускного бала я подстерег Снежанку и высыпал на нее из винтороллера полный багажник сирени. Она обомлела, шмыгнула носом и отвернулась. А когда заметила, что стебли зазеленили ей плечи белого платья, мы единственный раз в жизни поссорились.

Опять Толька Ермилов — раздвоился, что ли? — мельтешит перед партами и один изображает ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Мы аплодируем: настоящий волшебник перевоплощения. Жаль, формулы ему так зрелищно не удаются, верх достижений — молекула метана. . .

— . . .Тожe мне, Марсель Марсо! — тихо сказал я тогда. И опустил глаза, не в силах вынести Толлерова взгляда.

— Ах-ах, на самом деле в актеры? — раскудахта-лась Кутасова. — Брось, Радужка, несерьезно. У тебя же талант помогать людям, честное слово!

— Без толку его уговаривать. — Я справился с собой и уставился на Тольда в упор, как на экран. — Пусть идет. Профессия актера — самая безопасная на Земле!

Зачем вслух называть человека трусом?!

И тут наконец на меня снизошло озарение: неуклюжий актеришко на сцене, кумир Семихаток, как раз и есть мой одноклассник, отчего-то немыслимо постаревший. Я порадовался за себя. И пожалел того, кого доконала неточность выбора. Ведь ему сейчас. . . Ну да, тридцать один, как и мне. Только он не февральский, а августовский. Мы ни разу не праздновали его дня рождения — летом ведь так трудно собрать гостей!

Всем своим тренированным, испытанным перегрузками телом я выпрямился в кресле. И еще раз пожалел человечка на сцене. Уже без зависти, которую, похоже, скрывал от себя всю жизнь.

Я не заметил, в какой миг наступил перелом настроения. И в Ермилове. И во мне. Ермилов заиграл широко, раскованно, заиграл для одного меня и про одного меня, бесстыдно раскрывая притихшему залу мою биографию. Отелло, оказывается, тоже дико, безнадежно, бессмысленно одинок. Как ледовик в каверне: едет, куда везут, посылает миру отчаянные отчеты в капсулах без надежды на то, что их примут. И действует так, будто по-прежнему живет на виду у всех, будто люди способны видеть на четыре километра в глубь льда. Нет отклика ниоткуда, нет весточки от своих. И об ответе не мечтай, никакие сигналы не пробиваются в закукленный, оторванный от человечества мирок. Ведь зрители, сопереживая, тоже отделены от него невозможностью вмешаться в действие. Даже если ложь сокрушает у них на глазах человека. Крохотная ледяная каверна в сердце — и вот она разрастается, пухнет, вот уже поглотила целиком, и ты внутри нее, спеленатый по рукам и ногам ревностью, ненавистью или завистью — все они ранят необратимо.

Характер у каверн неровный. «Каверны коварны, каверны неверны!» — поется в песне ледовиков. Победить каверну можно только один на один. Никто не придет на помощь. Надо жить воспомина-

ниями. Держать в себе человечество. Бесперывно думать о нем. Сосредоточить его в себе. Не дать расплыться, потерять конкретность, вытечь из сознания. И держать, держать, держать — постоянно чувствовать и держать в памяти всех-всех-всех. Даже тех, кто рождается и умирает на Большой Земле без тебя, за период дрейфа.

... Однажды меня разбудила тяжесть. Я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, не мог повернуть головы к светящемуся циферблату, не мог вытолкнуть из груди ком хрипа и ужаса. Вокруг витал Голос — голос отца. «Нельзя, нельзя прививать себе вакуумный паралич. . . — взывал он. — Не записать ощущений, сердце останавливается, никто никогда не узнает, что мозг перерождается. . . Потеряв связь с себе подобными, мозг обретает взамен вечность. Но вечность созерцания. Вечность безделья. Человек не имеет права платить такую непомерную цену, вакуумный паралич не болезнь, не смерть, это параллельная, чужеродная людям жизнь. Не смей заражать себя, противоядия не существует! Умоляю, догадайтесь сделать нейтринный срез моего мозга. Обращаюсь к тем, кто меня обнаружит, обращаюсь к своему сыну. . . Вадим, сын! Ты обязан услышать. . .» Темнота в танке душила меня, и Голос гас. А я по-прежнему не мог пошевелить пальцем, включить свет, ответить на безмолвный крик с Брэдбери-11. До сих пор не решаюсь спросить — выловили, не потеряли ту капсулу с моим донесением о Голосе отца? Хорошо, дочка меня отвлекла, Юлька. Я произвел ее на свет на полтора месяца раньше срока. Вычислил ей ямочку на подбородке, постоянно сжатые кулачки, синие, вечно озябшие ножки в перевязочках, все ж таки недоношенка. . . Я по минутам расписал Юлькин режим. Попереживал, что у Жанны пропало молоко, выучился варить кашку. В изобилии усыпал колыбель шарами и погремушками, на первый дочкин зуб подарил серебряную ложечку и Серебряного пингвина. . . Юлька бы уже топала и плавала не хуже ровесников, не хуже своейвольной беглянки Оли. И так же теребила бы родителей, просила почитать на ночь нестрашное. . .

Если б, конечно, родилась.

Без меня на Большой Земле не могли обойтись ни встречи, ни проводы. И ни боже мой, мне ни на секунду нельзя было усомниться в том, что погибни я — весь мир погибнет вместе со мной. Иначе не выживешь, иначе умеющие приспособливаться льды скуют тебя равнодушием, и ты сам станешь их частичкой.

А каверна с мертвыми приборами укатится дальше.

Девиз ледовиков — МИР В СЕБЕ!

Отелло тоже движется в каком-то призрачном собственном мирке. Заговаривает с дождем. С Дездемоной. С Яго. И не слышит их. Не может услышать.

Как дрейфующий ледовик.

У меня-то была теплая ниточка. Снежана. Которой нет у Отелло—Ермилова. Зато Юльки нет ни у него, ни у меня. . .

Но ведь это же непостижимо — играть для одного человека. Это же неестественно, незтично, скучно наконец! Я поерзал в кресле, обеспокоенно огляделся. Ни один зритель на меня не пялился. Зал молчал, зал вымер. В паузах между репликами слышался разрядный шелест светодекораций.

Лишь тогда я догадался, что великий Ермилов лицедействует не для одного меня, он играет одновременно сто десять разных мавров.

По числу зрителей в зале. По числу сидячих мест. . .

Каждому отведена на сцене своя отдельная роль. Теперь, настроившись, я без труда улавливаю это — в чем, в чем, а в скрытых мировых связях ледовики разбираются получше прочих, даром, что ли, вынашивают в себе целую Вселенную! Разумеется, когда очень нужно. Когда они в дрейфе.

А я сейчас — как бы снова в дрейфе, неожиданно ухнув с головой в разомкнутую Вселенную чужой души. И начинаю, по-моему, постигать моего несостоявшегося друга. . .

Для Жанны Ермилов незримо страстен, пылок, непомерно предан ей, своей Дездемоне, в незамеченном или непринятом ею одиночестве. Изредка Жаннин Отелло загорается грешной надеждой. Но удачливый соперник снова и снова возвращается

из ледового плена. Убить надежду и тем самым спасти Отелло может только ребенок, так и не родившаяся Юлька. Но Юльки нет. Отелло разгромлен, побежден, настала пора проститься. И ничего иного не остается, как задушить Дездемону, задушить в себе самом своими собственными руками — нелепо растопыренными, угловатыми, непропорционально короткими и хилыми у плеч, будто руки целиком ушли в нетерпеливые толстопалые кисти. . .

Соседу слева играетсЯ другой вариант Отелло: живенький, шустренький, язвительный интриган-толстячок, во всем под стать хитроумному Яго. Проиграв сопернику по очкам, он из мести — пусть никому не достанется! — без лишних слов ликвидирует подругу.

Иной, непохожий Отелло адресован вон тому юноше в фобоске, который, не испытав любви, уже знает разочарование.

И еще сто шесть Отелло достается всем остальным. Не считая актеров на сцене, всякий раз ожидающих премьеры. И самого Ермилова, разъятого на сто десять неравных частей.

Финал мы досматривали стоя. А Ермилов, Тольд Ермилов, волшебник перевоплощения, отдавал себя так, будто сцена не сцена и игра не игра, а самая натуральная реальность, будто этот вечер — наипоследнейший в его жизни. Отдавал безвозвратно и щедро. Потому, видимо, что его девизом, в отличие от нашего, было: СЕБЯ — МИРУ! Как же надо любить людей, чтобы вот так вот тратить себя в этой самой мирной и самой безопасной профессии на Земле!

Которую когда-то, по моему глупому разумению, он выбрал из трусости.

За кулисы не пускали. Пришлось предъявлять Золотого пингвина. На наш стук из-за двери уборной никто не ответил. Мы вошли.

Ермилов сидел перед зеркалом обмякнув, свесив руки между колен, закрыв глаза. Весь аморфный. Растекшийся в кресле. Расслабленный и произвольно нацеленный в белый свет. Может, прошлый. Может, будущий — трудно сказать. Во всяком случае, не имеющий настоящего времени. Старушка-массажистка стирала с его физиономии грим. И еще

больше оголяла безликое лицо, которое нуждалось хоть в каком-нибудь макете для подражания — как жидкий лед для кристаллизации нуждается в постороннем предмете. По чужому для нас ермиловскому лику бродили, не закрепляясь, черточки старушечьей маски: выцветшие глаза, заостренный носик, куриные лапки морщин, желтый, как ананасная слива, подбородок. Войдя, мы с Жанной тоже отразились в этом лике. Отразились — и некоторым образом усреднились, просуммировались — как много лет живущие вместе супруги, отброшенные зависимой Толлеровой памятью к неизбежной и, слава судьбе, далекой пока от нас старости. Но появилось в Ермилове что-то и от Обезьяныша, от юного Тольда-Радужки.

— Я знал, что вы придете, — сказал он, не открывая глаз. — Спасибо, Снежана.

С тех пор, как я поближе узнал льды, для меня в Жанне почти не осталось девчонки с морозным именем из детства. Для Ермилова, выходит, наоборот. Он трудно поднял голову. Собственная мимика еще к нему не вернулась, движения глаз не поспевали за движениями бровей, губы и морщины вокруг рта жили не в такт, удивленно вздернутая кожа на лбу вообще пока не обрела подвижности. От того Ермилова, с которым мы несколько раз столкнулись перед спектаклем, он уже отличался возрастом: сегодняшний вечер состарил его года на два. Не понимаю, куда у них в театре смотрит техника безопасности? Человек чуть не каждый вечер гробит себя у всех на виду, рискует жизнью, а им и дела нет. Или никто не замечает?!

Я напустил на себя вид, будто любуюсь развешанными по стенам афишами.

— Как я вам сегодня, ребята? — спросил Ермилов бесцветным отсутствующим голосом. — Не тошно было?

— Молчи, Клоун! — в сердцах оборвал я, хватая его руку.

Маленькую вялую руку с тонкими усталыми пальцами.

О многом хотелось спросить этого пришельца из детства. Но он опять был слишком похож на меня.

Спрашивать его — все равно что спрашивать вслух самого себя. В голове вертелась глупая мудрость: вода принимает форму сосуда, в который налита. Индивидуальный облик Тольда начисто выветрился с его никакого лица.

С лица артиста Ермилова, больного другими людьми.

Девушка-билетер принесла корзину цветов и список ролей на ближайшие спектакли. Как я понял — для утверждения. Ермилов едва пробежал его глазами, странно усмехнулся, чиркнул ногтем поперек страницы и нетерпеливо отбросил:

— Потом-потом. Все потом! Завтра. Сегодня у меня гости. Школьные друзья.

Впитав и тотчас погасив юные черты билетерши, Тольд снова помолодел, подобрался, упруго и энергично вскочил на ноги. Переохлажденный лед мгновенно кристаллизуется по всему объему.

— Так вот, братцы-сестрицы. Сейчас ко мне — и никаких возражений. Отпразднуем встречу. Заодно, Лыдик, за твой подвиг поднимем тост. И за будущую дочь.

Я вздрогнул.

— Тебе, Снежаночка, помню, сирень к лицу. Извини, не заказал. Но я полагаю, белая роза ничуть не хуже.

Он распотрошил корзину, изящно приколот цветок на Жаннино платье.

— Прелестно, не правда ли? И куда я, дурак, раньше смотрел? Не дуйся, не дуйся, Вадим, нам, старикам, позволительно за чужими женами приударить. . .

Отелло!

— Скуд вызывать не будем, люблю ходить пешком.

Подхватил Жанну под руку и устремился к двери.

Он креп на глазах, был очень весел и оживлен. Но меня его превращения не обманывали: Тольд-Радужка опять кого-то играл. Я шел за ними по пятам и никак не мог отделаться от подсчетов. Каждому спектаклю два года жизни, пусть даже один. . . Сколько ж ему осталось? Дурная моя сосредото-

ченность, действуя помимо воли, подсовывала ответ. Я отмахивался. Упирался. Но совладать с собой не мог. Я всегда слишком хорошо считал. . .

Возле столика, на котором был небрежно брошен список ролей, я замедлил шаг. Оглянулся. И отыскал ногтевую Толлерову черту примерно на половине страницы.

Список начинался с Сальери.

Подчеркнут был Патрик Мур, комендант Меркурия.

А дальше шли князь Мышкин. Король Лир. Илико — лунный чабан. Лодимир Скаржинский.

И еще одиннадцать ролей, которые Ермилов никогда не сыграет.

НА УГЛУ МИТРОФАНЬЕВСКОЙ УЛИЦЫ

Смена была легкой, шли незначительные сообщения с мест. Утечка цвета с Водяного панно Технологического института. . . Сорванный ветром с Дворца Детей флюгер. . . Повышение сотового давления под декоративным сводом гостиницы «Радость». . . И прочие мелочи. С такими неполадками уличные диспетчеры справляются собственными силами, лишь по традиции рапортуют на пульт районного инженера. К сожалению, последние годы на долю мелочей приходится двадцать восемь процентов всей информации. Если так уж необходимо для статистики, пусть бы сообщения оседали в долговременной памяти, а сюда, в координаторскую, поступали только ЧП, только то, что угрожает здоровью людей или производственным циклам. Пора ставить вопрос перед главным инженером города. . .

Род вспомнил, что на прошлом его дежурстве как раз и случилось такое ЧП: на поверхность воды в Обводном канале всплыло масляное пятно площадью сорок квадратных метров. Пришлось блокировать движение прогулочных лодок и яхт, ставить с двух сторон перемычки, подгонять земснаряды, фильтровать участок, продувать дно воздухом на большую глубину. После чего ему же, районному инженеру, досталось гасить недовольство катающихся ограничением лодочных маршрутов. Этих бы катающихся — да в те времена, когда экологической службы в городе не было. Правда, чувства юмора у горожан всегда хватало. Какой-то чудак даже предложил тогда переименовать начиненный промышленными стоками Обводный канал в Хрустальную набережную!

Род усмехнулся и запросил завод резиново-технических изделий — там впервые сегодня пробуют стан бессерной вулканизации. Оттуда ответили: порядок. Дав заодно указание операторам проверить холодильные системы пневмопочты, районный инженер отвернулся от экранов перекурить — одна из привычек, от которой труднее всего

оказалось отучить человека. Пыхнув факелом электрозажигалки, откинулся в кресле, вытянул ноги и закрыл глаза.

— Род, посмотри, пожалуйста, не могу разобраться. . .

Голос молодого диспетчера Стэна не выразил тревоги, скорее — недоумение. Поэтому Род не торопился открывать глаза.

Стэн на половине экрана смущенно улыбался, вторая половина изображала угол Обводного канала и Митрофаньевской улицы. Интересно, до чего живучи названия. Давно уже нет Митрофаньевского кладбища. Позабыта существовавшая потом на его месте Митрофаньевская барахолка. А название хранит корень утраченного звука.

— О чем речь, Стэн?

— Да вот он. . . Идет. . . — Стэн ткнул пальцем в человека на экране, который с набережной Обводного повернул в глубь Митрофаньевской. Шел он прогулочным шагом, заложив руки за спину. . .

В принципе, Митрофаньевская не закрыта для прогулок. Ничего особенного за ней не числилось. Те же обеспыленные мостовые, лоснящиеся от глазурированного асфальта. Тот же искусственный газон тротуара, дышащий неназойливым влажным теплом. Настоящая трава между деревьями выглядела тоже вполне добропорядочно — чистенькая, новенькая, остроконечная, будто подогнанная стебелек к стебельку. Тем не менее не закрепилось за этой улицей славы прогулочной. Вероятнее всего, потому, что ее формировали нежилые объекты: Балтийская дорога и цепочка переходящих одно в другое промышленных предприятий. Нечего на ней было смотреть. И делать нечего.

— Не нравится, говоришь, что идет? — переспросил Род. — А конкретнее, позволь узнать?

— Зачем ему туда?

— Резонный вопрос. Впрочем, пусть его. Никому же не мешает.

— Да? Ну, ладно. А я подумал. . . — Стэн не договорил и протянул руку выключить экран.

— Погоди, сынок. Дай увеличение. По-моему, я его где-то видел. . .

Стэн перебросил изображение на другую камеру, спереди. Незнакомец был ужасно сутулым и худым. Лицо невзрачное, унылое. Длинный тонкий нос несмело тянул лицо вниз; к носу, наоборот, поднимались снизу плотно сомкнутые острые губы. Маленькие глазки медленно глядели со дна обширных и очень пологих глазных впадин.

— О, черт! — Род сжал ладонями виски. — Как же я сразу не догадался? Знаешь, кто это? Поэт.

— Какой поэт?

— Не поэт, а Поэт. С большой буквы. Стихотворцев у нас вдоволь, а Поэт на всей Земле один.

— Не может быть! Тот самый? Ох, Родион Михайлович, прости, я ведь не знал. . .

— Зря извиняешься. Он не выступает по телевидению, не печатает портретов. И то сказать, с таким лицом. . . Ни тени же интеллекта! — Род спохватился, что тратит слова впустую. — На линии все в порядке?

— Вроде бы. . . — Стэн неуверенно кивнул. Поди знай, все ли? Впервые на службе он сталкивался с искусством. Наверняка у них с Поэтом разные мнения насчет порядка. Вдруг у художника крушение образа там, где у инженера полный ажур? Вдруг Поэту для вдохновения нужна какая-нибудь трещина в асфальте, — так что ж теперь, мостовые из-за него калечить?

— Ладно, сынок. Спокойней. Я сам прослежу. Включи-ка панораму до границы района. . .

Род вызвал из резерва начальника смены, передал ему контроль общий, сам сел к дубль-экрану. За правую сторону улицы он не волновался: сквозь трехуровневую ограду зеленых насаждений блещут разноцветные эстакады, жуками ползают электрокары, парят над рельсами беззвучные поезда — любо-дорого посмотреть! На всякий случай районный инженер отменил выход тяжелого грузовика по южной ветке и порекомендовал дежурному перевести на полчасика световую сигнализацию в инфракрасный диапазон — откуда знать, как действуют на Поэта перемигивающиеся огоньки? Потом, правда, придется, компенсировать лишнее тепло, но тут уж ничего не поделаешь.

Теперь левая сторона. Квартал от угла до угла занимают краностроители. Здание у них, как и всюду, под хлорофилльной краской, озон, тишина. В общем, нормально. Дальше химкомбинат на автономном цикле, без обмена с окружающей средой. Затем. . . Род не поверил глазам, щелкнул фильтром телепомех: показалось, кто-то с любительской камерой влез на его волну. Но нет. Между заводом и комбинатом действительно стояла палатка и сутились цыгане.

Род побагровел:

— Кто допустил?

— Они тут со вчерашнего вечера стоят, — растерялся Стэн. — Я же не знал, что нельзя. . .

— При чем тут нельзя? Человеку везде можно, если нет опасности его жизни и здоровью. Но не во всякое же время!

Зло пыхтя, районный инженер раскурил бездымную сигаретку. Зря в самом деле напустился на парня. Разве тот виноват? Девяносто лет космической эры, а эти бродят. С какой целью? Чего ради? На эти вопросы нет ответа. За цыганами числятся песни и пляски, гитара, Гитана да театр «Ромен». Вся цыганская жизнь — театр — зажигательный, кровь в дрожь! Из поколения в поколение. Без попыток цивилизоваться. Может, знают или ищут цыгане такое, что нечаянно утратили остальные? Давно уж извели мы диких вирусов. Контролируем комариное потомство: самцов — на рыбий корм, комарих — в закрытые инкубаторы. Зарубцевали раны Земли, нанесенные во время разлада с природой. Укладываем свою деятельность в рамки естественных процессов — пригладили архитектуру, изжили прямые углы и контуры, даже молнии меридиональных дорог укрыли пористой пленкой, чтоб выглядели с высоты цепочкой плешивых глиняных холмов. А цыгане как брели когда-то, так и бредут себе по нашим гладким дорогам. Ставят палатки на глазурованный асфальт. И вносят Неожиданное в отлаженный и четкий механизм города.

Положеньице! В другое время Род бы не загрустил. Подумаешь, палатка посреди улицы. Но сейчас к этой палатке приближается Поэт. Человек, чьи

слова ценятся дороже любого промышленного изделия. Дороже энергии. Дороже времени. Он умеет говорить так, что каждому кажется, это его собственные слова: он сам их сказал, не мог не сказать, только гораздо-гораздо сильнее и лучше, чем всегда. Поэт идет, сочиняя стихи, — и Земля замирает дыхание: не спугнуть бы, не уронить его мысли. Ляжет путь Поэта через завод — остановят завод. Шагнет Поэт по рассеянности на космодром — в воздухе, дрожа, замрут ракеты. И никто не усомнится в его праве, попроси Поэт запустить в Космос лишний звездолет. Просто так. Без цели. Просто потому, что это нужно ему для его образного строя. Ибо слова, произнесенные им, становятся общечеловеческими.

Не более секунды длилось забытие Рода, и вот уже он выпрямился, скомандовал по селектору: — Стэн, закрывай Митрофаньевскую. Скуды направо в обход. Притормози поливку деревьев на Ташкентской. Диспетчеры шесть-тире-одинадцать, дайте над участком запрещающий для винтороллеров. Да не забудьте продублировать сигнал радиофишкой, иначе пассажиры запаникуют, решат, опять у нас утечка газа. Стэн, у тебя все? Подготовь акустическую завесу.

Неплохо бы что-нибудь посущественнее, подумал Род уже про себя, да разве так быстро достанешь? Если только у Юджина Кунцева? Запасливый мужик, у него все есть. Вот не было печали! Вклею-таки я замечание линейному с Обводного, чтоб не упускал в следующий раз поэтов! Конечно, с одной стороны, кто может предположить, куда знаменитость стопы свои направит? Но с другой стороны, на то тебе и опыт: доверили пост, так не лови ворон! Вон Стэн, молодчага, совсем зеленый-неприработанный, а гляди — занервничал!

Род еще раз взглянул на экран. И похолодел. Волоча по газону юбку с плохо пригнанным стереоузором — в некоторых местах наложились по два рисунка, в некоторых орнамент на полметра отстал от материи — к Поэту семенила старая цыганка. . .

. . . Поэт не сразу понял, что привлекло его внимание. Он никогда не фиксировал мыслей, мысли

сами автоматически превращались в слова. Он просто прислушивался к себе. И говорил, диктовал, записывал — когда как. Главное — произнести что-нибудь вслух, оттиснуть на бумаге, запечатлеть в колечко эль-памяти. Короче, обратить мысли в слова. А уж слова люди тотчас подхватят и разнесут по Земле, сделают своими словами. Придумывать слова — это и есть его работа, его обязанность перед человечеством. Слушай себя — и слова появятся.

И Поэт слушал.

И говорил.

Когда этого ждали.

И когда не ждали — тоже.

В его словах нуждались. Его слов хватало на всех.

Поэт медленно повернул голову направо. Там жужжали среди зелени разомлевшие шмели. Он повернул голову налево. Что-то начало его беспокоить. Но он еще не знал, что. Не знал даже в тот момент, когда его цепко ухватили за локоть, плеснули в уши тренированной скороговоркой:

— Давай погадаю, золотой-серебряный! Позолотишь ручку — всю правду выложу. И где тебя счастье бубновое дожидается. И откуда вести пиковые придут. И что тебя в казенном доме встретит.

Поэт отвык, чтоб другие говорили в его присутствии. Он не нуждался в окружающем мире. Внешнее существовало где-то по ту сторону мыслей, как будильник воспоминаний, как толчок для неожиданных ассоциаций. Не более того.

Когда-то в неотвязно присутствующем в нем детстве он уже слышал эту скороговорку, и она его не трогала. Но сейчас внешнее вмешивалось чересчур активно. Искажало гибкое восприятие просыпающегося образа.

Поэт продолжал медленно поворачиваться. И еще медленнее обращал взгляд изнутри к источнику голоса.

Из палатки поодаль доносился детский плач.

Чернобородый смуглый мужчина брэнчал на гитаре.

Три молоденькие женщины с детишками за плечами, в платках до половины затылка, спорили

наперебой и отчаянно жестикулировали. Еще одна, сама едва девочка, с мудрым бесстыдством кормила грудью малыша.

Замурзанный мальчуган в брюках со штанинами разной длины сосал конфету, то и дело вынимал ее изо рта, осматривал и совал обратно. Двое других боролись, вопя при этом так, будто наносили друг дружке неслыханные увечья.

А его, Поэта, теребила за локоть старая цыганка в куртке из немодного нейлонового плюша, в многоскладчатых юбках, в блестящих бурках.

Странное, затерянное во времени племя, удивился Поэт. Бредут за солнцем, ставят палатки на глазурированный асфальт. Коней видят только на скачках да в школьных живых уголках, но все равно бредят о них. И бредут, бредя, исполняя одно из семи вечных проклятий: «Пусть ничего у вас не будет, кроме дорог!» Мы отвыкли от бродяг на нашей чистенькой, доброй, благоустроенной планете. Но цыгане не замечают, что мир давно изменился. И по-прежнему меряют дороги песнями и посвистами кнута. Может, другие — межзвездные — дороги ожидают бродяг? Мечты о счастье легче невесомой кочевой котомки. От песен останавливаются на лету падающие звезды. И породнясь духом с Поэтом, знают цыгане такое-такое, что уже не доступно нам.

Как там у них поется?

Тэрнори чайори
Гóжинько мирí!

Да-да, именно так. Девушка молоденькая, красивая моя!

Они кличут, а мы отмалчиваемся, отворачиваемся от них, не принявших нашего благоустройства, — замкнутых, посвященных, тревожных и небезразличных нам, как прошедшее детство или будущая смерть.

О них даже не принято говорить — как не принято в последние десятилетия говорить о смерти. Люди не разрешают себе принимать близко к сердцу то, с чем не в силах справиться.

Постой, почему вдруг это вспомнилось? Просто так барабанят только дети и

д о ж д ь, а его, Поэта, мысли рождаются не просто так, раз они рождаются для всех. Он не имеет права думать просто так. Тем более, о смерти, до которой ему нет дела. Он всю жизнь говорил людям лишь то, что они хотели услышать. И вместе с ними замалчивал то, о чем они слышать не желали.

И поэтому замалчивал смерть.

Смерть — что-то неестественное, застарело ненужное людям. Словно кто-то вне нас забыл остановить однажды включенный механизм. Уже нет необходимости осуществлять отбор — теперь выживают и сильные и слабые, и слабые при жизни становятся сильными. Смерть исчерпала себя. Но мы в положении того города из сказки братьев Гримм, который получил в дар чудесный горшок. Давно все насытились, а горшок варит. Каша сносит дома. В каше тонут люди. А горшок все варит, варит, варит, и никто не знает, как его выключить.

Умереть, знаете, это очень плохо. Ведь это на всю жизнь.

Однако люди уходят и уходят. . .

С каждой непобежденной смертью рушится чей-то мир — никому никогда не восполнить его, не повторить, не восстановить. Но ни с кем из умерших смерть не исчезает, она остается среди нас, с нами. Не только их нет среди нас. Но и нас — среди них!

Мы слишком долго дышали дыханием смерти, чтоб внезапно задуматься о бессмертии. Люди исчезают поколение за поколением. Земля не сохраняет их, как не сохраняет отражения зеркало.

Земля, покрытая пеплом предков.

Сколько Вселенных навсегда себя забывают!

Время на циферблатах, истекающее кровью.

Маленькая смерть собаки,

Маленькая смерть птицы.

Нормальные размеры человеческой смерти.

— Бабушка, ты умрешь?

— Умру.

— Тебя в яму закопают?

— Закопают.

— Глубоко?

— Глубоко.

— Вот когда я буду твою швейную машинку вертеть!

Поэт покачнулся, припомнив могилу друга Тодика, Витольда Колычева, умершего тридцать лет назад. Они дружили, несмотря на разные жанры и разные темпераменты, несмотря на полувековую разницу в возрасте. Так вышло, что они оказались рядом.

Но они бы и не могли не встретиться — два гения, равно необходимые Земле.

Вундеркинд редко вырастает в гения. Тодик не захотел испытывать судьбу, он не успел вырасти, угас, почувствовав, что все сказал за свои лихорадочные шесть лет. Лучше ему уже ничего не сделать, И ничего не сказать. . .

Трудно поверить, но он и вправду творил только шесть лет. Первый Тодиков рисунок выставили в два года. Последний совсем недавно нашли в лесу: Тодик нанес его титановым волосом на коре молоденького платана. Дерево вытянулось, и рисунок вытягивался вместе с ним и деформировался со стволом, потому что Тодик заранее планировал его на вырост.

Люди закрывают глаза, укрываясь от звезд.

Среди умирающих звезд рождается утро.

Где-то набухает красивый ветер из стали.

В этот миг он, Поэт, мучается стихами.

В то же мгновение режется самый первый крик тополевой почки.

В другой точке мира маленькая девочка, порезав пальчик: «Мама, пусть я буду из камня!»

В Галактике соседнего квартала текут по электрическим рекам потерянные секунды.

Седую Вселенную сотрясает тихая цыганская песня: «Ах, тэрнори чайори гожиныко мири!»

А Тодик в это время развеян ветрами.

— Папа, если в прошлом году будет война, тебя застреляют?

— Может быть. . .

— И от тебя ничего не останется?

— Нет.

— Даже точки?

— Да. Ты будешь меня жалеть?

— Чего же жалеть, если ничего не останется?

От Тодика остались рисунки. Резьба по меди. Лепка — заплавленные в монокристаллах алмаза пластилиновые фигурки. Эскибрис на коже — для него, Поэта. Неповторимые вечности его мыслей и взглядов, впитавшиеся в стены домов, проступающие из-под штукатурки комнаты — будто отмытые фрески. . .

На могиле Тодика стоит огромная глыба мрамора, сколотая наискось и обработанная в его манере титановым волосом так, что поверхность получилась теплая, живая. Тончайшим резцом по сколу выбито увеличенное с автопортрета лицо мальчика. Под незамкнутым овалом лица — две даты, разделенные всего восемью годами. Под датами — детским Тодиковым почерком — одно слово: Тодик. Одно слово, одно-единственное имя. Но человечество никогда и ни с кем его не спутает. Тодик не успел заслужить прозвища. Со временем забудется фамилия. Но никогда не забудется его имя: для всех великий художник Витольд Колычев был и будет просто Тодиком.

Как он, Поэт, останется в людской памяти просто Поэтом.

Он вслушался, стараясь уловить и остановить в себе то мгновение, когда рождается Слово — вечное движение, схваченное рукой.

Нахлынули все виденные Поэтом звезды и кресты на могилах.

Деревянные.

Чугунные.

Пластмассовые.

Выложенные на железобетоне мраморной крошкой.

Вспомнились сами могилы, налезавшие одна на другую в страшной мозаике.

И вечный сон —

 мерно и скорбно

 бредущая мимо

 бесконечная

 похоронная

 процессия —

Проплывающая

 на плечах человечества

 вереница гробов.

Замороженное вращение карусели.

Мозаика Смерти.

— Вот ведь, большие дяди и тети, а чем занимаются — хоронением. Я, конечно, не боюсь, нет, но ведь жалко — хоронят и хоронят. Ведь людей хоронят. Пойдем и заявим в милицию, ведь жалко людей-то!

Кладбищенский сад в опавших листьях, из которого никто никогда не возвращается.

Забиты гвозди вечности

в прошедшее,

в настоящее,

в будущее время.

Шепчущая и зрячая темнота ожидает каждого от рождения. Непогасшие мысли четырех миллиардов человек, живших до нас. Вкус и запах Вселенной. Страх и неотвратимость Смерти. Щелчок, опрокидывающий сознание.

Ничто.

Первая смерть в жизни Поэта представляется сейчас пожелтевшей фотографией. Тело матери. Цветы. Раненный белым платком траур платья. Православной горкой — руки под грудью. Он сам в белой рубашке с черным передержанным лицом, косящий в сторону фотографа, будто подсматривающий за ним. И совсем слева, не поместившись в кадр (но Мальчик-Еще-Не-Поэт это помнит!), — оборванная цыганка. Она сидит вон там, на поваленном надгробьи, хватая прохожих за коленки: «Ну-ка, позолоти ручку, золотой-серебряный! Всю правду выложу, не утаю, чего знаю. Где счастье молодое бубновое обронил. И что тебя в казенном доме дожидается. . .»

Последняя смерть в жизни Поэта — уже после Тодика, вобравшего всю скорбь досуха, — вид сверху с балкона:

Качающиеся в толпе фигуры родственников. Бьющаяся в истерике растрепанная женщина. Оркестр, медно выводящий в воздухе рвущие сердце и оставляющие равнодушным звуки.

— Я сам видел, старик умер. Впереди несут гроб, а старика ведут под руки, а он плачет, хорониться не хочет. . .

Люди зернами ложатся в землю: их сеют, чтобы из них как цветы вырастали маленькие человечки. Философия Смерти.

Сознание наибольшей вины: если искусство, если его, Поэта, слова бессмертны, то как же он до сих пор не убил смерть? Даже не замахнулся на нее? Своим сердцем и своим словом он обязан сделать мир таким, чтобы в нем никто не боялся жить, ибо смерть безнравственна, смерть в конце концов — это итог убитой страхом жизни.

Поэт попытался проанализировать цепочку взорвавшихся в нем ассоциаций. Откуда эти разные, свои и чужие, рожденные только что и сказанные задолго до него слова? ¹ С чего все началось? Со старой (Ах тэрнори чайори!) цыганки? С вечных бродяг, которые приемлют лишь одно счастье — дорогу в песнях и посвистах кнута? С живущей вне времени гадалки? С безымянных могил всех тех, кто умер задолго до живущих ныне? С не умирающего в Поэте Тодика, ощущаемого через глыбищу неистлевающего таланта? Над могилой Тодика остановились безмолвные снежинки, тревожащий сердце птичий грай. . .

Вечность и Мозаика Смерти.

Непреходящая Мозаика Смерти.

Но почему это он? К чему это он? Зачем эти мысли теперь, когда ему осталось так немного сказать человечеству? Разве подобные мысли приведут к словам, которых от него ждут? Он не имеет права, не может себе позволить думать просто так. Безрезультатно.

Но ведь он исполнял свою обязанность — слушал себя. Поэты никогда не стыдились вечных проблем. Он скажет людям, он должен сказать людям то, в чем сами себе они не признаются.

Поэт почти ухватил кончик нужной мысли и начал разматывать клубок, одновременно оглядываясь, кто же его на эту мысль натолкнул. Поэт успел осознать безрассудство смерти. А значит, увидал и

¹ В рассказе процитированы образы из стихотворений Лорки, Аполлинера, И. Бродского, диалоги из книги К. Чуковского «От 2 до 5».

путь к бессмертию. Сейчас он материализует его в слова. И укажет путь людям.

В ушах билась застрявшая с детства в памяти ско-роговорка. Локоть еще сохранял жесткое тепло чужих пальцев. Перед глазами стоял только что увиденный или слепленный из воспоминаний случайный цыганский табор. . .

А вокруг ничего этого не было и в помине.

Не было.

Не значилось.

Никогда не существовало.

Колыхался на ветру видеопейзаж марсианской пустыни по макету знаменитого Нефа Рубинова. Плыли легкие аккорды акустической завесы. Пахло цветущим жасмином.

И никаких цыган, никаких дорог, никаких смертей и путей к бессмертию!

«Наваждение какое-то! — подумал Поэт. — На-до же!»

Медленно повернул голову налево.

Потом направо.

И пошел дальше, ссутулившись больше обычного и заложив руки за спину.

Поэт снова прислушался к себе. Тихо и бережно прислушался к себе. Но на ум шли какие-то дурацкие древние стишки:

Как на кладбище Митрофаньевском

Отец дочку зарезал свою. . .

. . . В координаторской за человеком на экране внимательно наблюдали дежурный диспетчер и районный инженер.

ЭРИННИЯ

Их называли эринниями не в память о богинях мести эриниях, хотя что-то от овеществленного проклятия в них несомненно было. Эринния — вот все, что осталось от четырехстрочного, с двумя десятками греко-латинских терминов описания, в котором «эритр», «Арес» и «пирин» вместе означали «огненно-красный цветок Марса». Насчет цветка ясности не было: некоторые ученые из чистого упрямства относили к флоре упругую камышинку с парой узких длинных листьев у пушистой головки — корни и обычный для растений фотосинтез затмевали для них сложные, характерные скорее для животных двигательные реакции. Новой сенсацией явилось открытие у марсианского переселенца «телепатических» свойств: эриннии оказались безошибочными индикаторами настроения. . .

Ралль обнаружил это случайно. В лаборатории после работы было тихо и пусто. «Резвая Маня» с выключенными экранами дремала в углу. В линиях магнитного лабиринта путался механический мышонok Мими. Нетопырь Кешка с вживленной в мозг «сеткой Фауди» завис кверху лапами под потолком, уронив крылья и развесив уши. Последние дни Ралль домой не торопится, хотя вряд ли голая лаборатория уютнее его личной миникомнаты, где стены читают желания и воздух дрожит от еле сдерживаемого исполнительского зуда. Там его, помимо автоматики, не ждет никто. А здесь можно по горячему следу сходу проверить идею шефа о деформации коллектива сильной минус-эмоцией отдельной личности. Проверять такие вещи сподручнее, конечно, одному, в тиши помещения, покинутого этим самым коллективом. . .

Ралль честно отсидел под широким «маниным» шлемом, пока Янис, не любивший терять в дороге время, вставлял в очки детективную ленту, а Иечка Стукман, наскоро осенив щеки стружкой электропудры, под укоризненным Ритиным взглядом перекрашивала глаза из рабочего серого цвета в какой-то

немыслимо-сиреневый. Еще минут пятнадцать Ралль ждал, пока шеф Ростислав Сергеевич стаскивал душистый профессорский свитер и снова превращался в сокурсника Роську Соловьева. Торопливо зашнуровав гермески, Роська накачал пульсирующим газом многоцветный метровый мяч, сунул его под шлем:

— Постукаем?

В «маниных» недрах предупреждающе заурчало разрегулированное поле.

— Убери локаторы! — буркнул Ралль.

— Джеральд! Что за язык? — ужаснулась Маргарита, успевшая влезть в глухую даджболку. Продольные желтые полосы на ее литом теле натянулись так, что тронь — зазвенят. — Наждак жевал?

— Не я, «Маня»! — съязвил Ралль.

Ростик выразительно покрутил пальцем у виска. Не уточняя, к кому это относится, обнял вибрирующий мяч. И шагнул за окно.

Ралль понял, что больше сегодня не работать. Снял шлем. Раздвинул пошире стенные панели. Солнце ворвалось в лабораторию, ослепленная «Маня» притушила экраны, будто зажмурилась. В ногу ткнулся мышонок Мими, отчаянно пискнул, волчком закрутился на месте. «Маня» пожалела его, вернула в лабиринт.

Игра была в самом разгаре. Гуннар из соседней лаборатории рыбкой вилял между корпусами, закрывая собой от нападающих мяч.

— Привет, Джеральд! — крикнул он, пролетая мимо окна.

И пропал из виду — Ростик в этот миг свечкой взмыл с газона, выбил мяч, головой послал в узкую щель ворот.

— Банка! — пропела Маргарита, накидываясь на шефа.

Обе команды облепили «автора гола», в воздухе за клубилось нечто невообразимое, ошетило перепутанные конечности. Желтые полосы на даджболках — цвета их лаборатории — едва не переплелись с серебряным пунктиром формы соперников.

И все же Ростик каким-то образом выскользнул из восторженных объятий подчиненных и неподчи-

ненных коллег. Дрыгнув гермесками, шеф спланировал в лабораторию. Клубок тел распался. Демонстрируя повышенный уровень минус-эмоций, игроки разом ринулись вслед за шефом в окно. Дружные сокурсники Роська и Ралль аккуратно принимали их здесь за руки, за ноги, хорошенько встряхивали и выбрасывали обратно во двор.

— Братцы! Наших бьют! — заорал Эдик Слуцкий. Оттеснил Гуннара и ребром ладони ударил пульсирующий мяч в миг его полного сжатия.

Это был классный удар. Чемпионский. Крученный мяч, завывая, вывинтился в зенит и прынул оттуда в спину свесившегося наружу Ростика. Шеф оторопело перевалился через подоконник. По-лягушачьи разбросал конечности. И, поворачиваясь с боку на бок, то выгибаясь полубаранкой, то распрямляясь в желто-пламенное копьё, спикировал к земле. Над клумбой конвульсивно дернулся, почесал одной ногой другую. И замер. Над недвижимым телом застыла с жокейкой у глаз Маргарит. Шестнадцать бескрылых ангелов, вытянувшись скорбной процессией, зигзагами опадали на газон.

Ралль поморщился: пожалуй, на этот раз шеф переборщил. Вечно он что-нибудь выкинет. А остальные рады стараться: подхватят выдумку шефа, разовьют, наизнанку вывернут — в зависимости от настроения. Ну да что с них взять — идеальные отношения, примерный коллектив, отзывчивые сослуживцы!

Ралль не сразу заметил, что в желтом пластмассовом кубике с отпиленной гранью встревожился гибкий, украшенный кисточками на листьях кроваво-красный цветок: сгорбился, прикрыл пушистую головку — точь-в-точь крошечный человечек, оглушенный и поверженный болью, прикусил руку, чтобы не закричать. Внешне эриннии не походят на человека. Тем выразительнее в их передаче человеческие эмоции, низведенные до изначального, телесного смысла слова «отчаяние». Так в диспропорциях детского рисунка по дыму над трубой проволочного домика узнаешь настроение хозяина. Так художник одной только экспрессией позы передает обнаженный страх. . .

Ралль горько рассмеялся: эринния в пластмассовом кубике всегда попадает в его настроение. Слабое, чужое на Земле растение понимает людей лучше, чем они сами себя, чем друзья-психологи, для которых достаточный признак веселости — улыбка на устах. . . Ралль еще по инерции смеялся, но кожу на висках начинало стягивать, заломило скулы, пришла невнятная тоска. . .

Нетопырь Кешка завозился под потолком, сухо зашелестел крыльями. По полу лаборатории процокали коготки — «Резвая Маня» перестроила для Мишки лабиринт.

— Тебе же не смешно, зайнька!

Линкин голос, любимое Линкино словечко. . . Линка умеет подойти беззвучно, буквально возникает из мыслей, когда Раллю это осязаемо нужно. Впрочем, видеть девушку ему хочется постоянно, Ралль ждет ее всегда, ждет день и ночь, ждал всю жизнь, особенно последние два года, так что неожиданности в ее приходе нет. Зато и веры себе, что она на самом деле пришла, тоже нет. Однажды протянешь руку — и не ощутишь Линкиного тепла. Останется только ее голос — бесплотный, живой, без застенчивости и кокетства, до боли знакомый и всегда неожиданный. И этот единственный на свете, живущий сам по себе Линкин голос повторит как и сейчас:

— Тебе же не смешно, зайнька!

Не оборачиваясь, Ралль усилием воли стер с лица закаменевшую гримасу, откинулся назад. Линка обеими руками прошлась по его волосам. Ладони у нее холодные. Длинные тонкие пальцы с вмятинками на подушечках тоже холодные и твердые от микроцарапин и от цезия — все контакт-посредники она монтирует сама.

— В тебе умер музыкант, — сказал Ралль этим пальцам.

Линка банальностей не терпит:

— Скорее карточный шулер, зайнька. . .

«Зайньками» Линка зовет всех подряд, и поначалу это на Ралля не действовало. А потом стало слишком поздно. . .

— Оттаял немножко? — Линка чуть отстранилась, заставила его покивать.

Он все еще не видит ее лица, но знает, что она улыбается. Ему нравится, когда она улыбается. Ей тоже нравится, улыбка делает Лину симпатичной: хитрые лучики бегут от уголков губ, тонкими складками очерчивают щеки, собираются в две ямки у крыльев носа. Лицо лукавое-лукавое, глаза — и так-то колдовские — превращаются в затягивающие бесовские болотца. . .

— Оттаял, оттаял, вижу. А то от твоих страданий Кешка чуть не заикал.

Эринния по-прежнему приклеивала взгляд: подавалась вперед, лист поперек стебля, кисточка еле-еле колыхнется — массирует сердце или что там у нее под алой корой. . . И такая безнадежность в облике!

Самое ужасное — эринния не солгала: Линкин приход не дал облегчения. Но откуда все это известно «марсианам»?!

Нет, что же творится в мире, если с Линкой стало хуже, чем без нее! Девушку, как и эриннию, не обмануть. Надо снова притворяться, лавировать, уходить от разговора. Знакомая волна боли поднялась из-под сердца.

— Я звонила тебе. Но ваша пси-Маргарита не иначе как ревнует: «Вам же известно, девушка, психолога нельзя отвлекать от эксперимента! Эксперимент — пик исследования, нерв науки!»

— Роськины слова! — Ралль наконец обернулся, и две Линки — из его памяти и настоящая — слились. — Ну, а ты?

— Ах, ничего особенного! Ты же знаешь мой характер!

— Да уж, представляю! — Ралль фыркнул. — То-то у Маргариты до конца дня на меня запала хватило.

— Не понимаю, Джеральд, чего ты в ней нашел? Ни лику, ни шику! — Линка соблазнительно обтянула краем юбки колени, присела на подоконник и так похоже передразнила Маргариту, что Ралль выглянул, нет ли той поблизости. — Неловкая, угловатая, блестит и режется, как стекляшка, фу!

— Ага, разоблачили? — Ралль привлек девушку за плечи, ткнулся лбом в теплые волосы. — Я каж-

дый раз после встречи с тобой руки осматриваю: нет ли новых порезов. . .

— Ну, тебе грех жаловаться, зайныка, ты мое счастливое исключение. Я только и делаю, что шипы втягиваю да острые грани от тебя отворачиваю. — Линка смешно выпятила зазорный подбородок. И сразу же посерьезнела: — Ты хоть понимаешь, что мы любим друг друга?

— Ну, Линушка, не мы первые.

— А ты на других не смотри. Тоже мне любовь — на сотню умников нашего института и одного ребенка не приходится!

— Так ты решила из меня Адама сделать? Боюсь, не выйдет. И потом, один перевоспитанный ничего не решает. — Он подул ей в волосы, потерся щекой. Похоже, ссоры снова не избежать. Что-то они участились. Это уже не первая. Но не дай бог, если последняя! Хорошо бы и этой встрече окончиться не хуже предыдущих. От Линки можно ждать чего угодно. — В конце концов, я отношусь к тебе как все!

— А нравишься мне, между прочим, именно тем, что не похож на всех. Не до конца похож. . . Хотя и боишься в этом признаться, тянешься за остальными. Ты больше мой, чем их. . .

— Опять ты за свое. Не надоест тебе самокопание. . .

— Я же не могу, как вы, поставить проблему любви в лаборатории. На бедном Кешке.

— Мы не занимаемся стандартными психическими реакциями.

— Жаль. Представляешь влюбленного нетопыря, а? Смешно. А главное — нестандартно!

Вот сейчас, сейчас, торопил развязку Ралль. Еще слово-другое, еще минута-две — и они уйдут друг от друга расходящимися амплитудами ссоры. Сейчас. Еще слово — и конец.

Однажды они уже сидели так, в тихом ресторанчике на Невском. Столик на двоих здесь понимали буквально: одно ребро столешницы вогнутое, другое выпуклое, третья неизбежная сторона вообще завивалась улиткой. По залу бесшумно сновали приветливо-безразличные роботы-официанты в бе-

лоснежных рубашках и немнущихся брюках. Скрытые вентиляторы нагоняли из кухни синтетический шашлычный чад.

— Нравится тебе здесь? — спросила Линка.

— Несколько часов посвящать еде, среди других жующих? Довольно унижительный возврат к природе. . .

— На людях веселее.

— Если не думать, куда деть руки.

— Твой шеф занял бы их раскуриванием трубки.

— Которая, в общем, так же уместна, как этот искусственный дым: мясо жарят дистанционно, а чадают отдельно, для экзотики.

— Брюки на работе тоже условность. Как и все его человекоподобие. Проще было построить тележку с манипуляторами.

— В Каунасе я заходил в охотничью корчму. Шкуры на стенах. Скобленные добела столы. Деревянные ложки.

— А по лавкам — «охотнички» в черных пиджаках и галстуках-бабочках, правда? Помню. Нелепо, хотя и красиво. Впрочем, насколько мне известно, шкуры там искусственные.

— Дожили! Возрождаем то, что давным-давно утратило смысл.

— А ты полагаешь, ваша ужасная рациональность всегда осмысленна?

— Что ты имеешь в виду?

— Например, хвост общего любимца лаборатории Мими. Почти натуральный мышинный цвет из дымчатого стекловолокна. И нулевая полезность. . .

— Кстати, нам не подали меню. Позвать официанта?

— Весьма кстати. Но мы не торопимся.

Из вазы посреди стола показалась горстка синерозовых, сморщенных, каких-то озябших бутонов сирени и с мультипликационной быстротой распустилась на глазах — будто каждым соцветием выстреливали. Верх гостеприимства, возгонка цветов каждой паре. А вспомнишь, как заряжают букет, как подстерегают подходящий (с точки зрения невидимых наблюдателей!) момент, как лупят бедное растение токами или впрыскивают химией —

и снова становится неловко и тоскливо. . . Все автоматизировано, подогнано, подобрано. Поневоле коробит: мы ведь люди, не роботы!

Линка зарылась лицом в свежую влажную гроздь:

— В старину, говорят, цветок из пяти лепестков приносил счастье.

— Ну, при возгонке все цветы один в один отштампованы. Ты ведь знаешь. . .

— Лучше бы не знать. — Линка понюхала букет, сморщила носик и отодвинулась.

Ралль повел рукой по ребру столешницы. Линка повторила его движение на своей стороне. Руки встретились.

— Как хорошо, что, несмотря на прогресс, две линии по-прежнему пересекаются, — заметила Лина.

— Даже такие разные, — подхватил Ралль. — Моя сторона вогнутая — словно мир молча замыкается вокруг. Зато твоя выпуклая, открытая — ты ведь сама излучаешь!

— Раньше девушкам говорили: «Ты мое солнышко!» Нынче — «Ты моя выпуклая!» И все равно жить интересно, правда?

Ралль лихо крутнул пальцем по извику столешницы.

— Гиперболическая бесконечность. Похожая на ту взаимную разомкнутость, которая была до нашей встречи и наступит после. . .

— Как ты умеешь все запутать и утопить в словах! Почему бы не сказать проще: «Давай расстанемся»? Не прибегая к иносказаниям?

— Я же совсем не об этом, я о третьей лишней стороне. Необходимое заставляет думать о сиюминутном, лишнее — о перспективе, замечаешь? Толчок новым мыслям. . .

— Меня иногда тошнит от вашей беспрерывной оригинальности. Ни словечка попросту, все с шарадой да с заумью. . . Оставьте хоть что-нибудь роботам: посмотри, куда вы их загнали! — Лина кивнула в сторону кухни.

Повинуясь ее кивку, приблизился официант, склонился с блокнотиком в руках.

— Нет-нет, мы уходим. Спасибо.

Лина шумно поднялась. Робот галантно отодвинул стул.

У него даже пальцы белеют, подумал Ралль. Может, неправда, что они — автоматы?

— Не провожай меня, — бросила Лина в сердцах.

В тот день он впервые почувствовал собственное сердце. . .

Из воспоминаний Ралль вынырнул так же неожиданно, как и окунулся в них. В уши впился противоестественно, вызывающе ровный Линкин голосок:

— . . . так искусно боролись против эгоизма, что проморгали незащищенность человека перед обществом. Раньше боялись вторжения в личность, подавления ее другой, более сильной. Естественной защитной реакцией каждого был собственный эгоизм. Теперь прятаться не от кого. Мы все нараспашку. И общество постепенно размывает личность. . .

Ралль не сразу включился и наудачу возразил:

— Психологи ничего подобного не замечают.

— А что вы замечаете? Глобальные проблемы? Взгляни на своих бородатых друзей. Им все дано. И все дозволено. А им скучно, их ничто по-настоящему не волнует. Возрастом, понимаешь, не вышли. . .

Ралль обернулся. На краешке подоконника, свесив ноги на улицу, сидела розовая после игры Маргарита и независимо раскачивала гермесками.

— Лина! — предостерегающе произнес Ралль.

— Что «Лина»?! Боишься, услышат? Пусть слышат. Я при ком угодно повторю: вы невзрослеющие вундеркинды! Ума хватает, а куда применить — не придумали. Способности обогнали возможности. Вы даже на женщин смотрите с детской непосредственностью. Как-то пришлось вклеить пощечину твоему шефу, и он искренне удивился: почему тебе позволено, а ему нет?

— Подумаешь, недотрога! — Маргарита дернула круглым плечом. — Уж и пошутить нельзя.

— Нам с младенчества вбивали в голову уважение к женщине, — не обратив на нее внимания, продолжала Линка. — Этакое благодущное аб-

страстное уважение к женщине вообще. Но я-то не вообще, я конкретная.

— При чем тут ты? — Ралль поежился. Медленная тоска знакомо заливала грудь.

— Вот именно. Тоже мне, предмет беспокойства — одно человеческое настроение! Да еще в свете наших достижений! — Лина говорила почти без выражения — на одной взвинченной, повышенной громкости ноте.

Чтобы сменить тему, Ралль подошел к пульту, ткнул наугад клавишу «Развлечения». «Резвая Маня» откашлялась и голосом Эдика Слуцкого продекларировала:

— Старинная народная задачка с логическими вариациями и промежуточным ответом. Внимание:

«Пэ» и «Ку»
Сидели на суку.
«Пэ» уехал за границу.
«Ку» чихнул
И лег в больницу.
Кто остался на суку?
Ку-ку!

Где-то что-то щелкнуло. «Маня» выдала первый вариант:

— Поскольку «Пэ» за границей, «Ку» в больнице, а кто-то все же кукует, следует предположить, что действие происходит в лесу. На опустевший сук уселась кукушка.

Голос Эдика с трудом перекрыл хохот:

— Браво, «Маня». Другого от тебя и не ждали. Ваша очередь, «маэстры»!

— Абсолютно ясно: никто не остался.

— Маргарита, зачем пилить сук...

— Не продолжай! — вскричал Янис. — На суку сидели трое: «Пэ», «И», «Ку», верно? Значит, остался «И».

— Милый друг, детективы определенно идут тебе на пользу. Совсем чуть-чуть не угадал.

— Повеселились? — загремел Ростик. — Сейчас я вас всех примирю. «Ку» остался. Ведь он только чихнул, а в больницу лег «И». Примитивный вариант...

— Безупречная дедукция, шеф. Нет слов!

— Ку-ку! — завершила спор «Маня».

Ралль надеялся, что Лина хотя бы улыбнется. Но она слушала равнодушно. А может, и не слушала.

— Эх, горе мое! — Лина отключила экран, положила руки Раллю на плечи, откинулась, долго смотрела ему в глаза. — Я считала психологов более чуткими: им бы первыми откликаться на беду. А у вас дурные задачки на уме.

— Да где ты беду выискала? — Ралль прижал щекой к плечу ее ладонь. Маленькую ладонь. Пахнущую цезием и апельсинами. — Вот жизнь, Линушка. Вот моя работа. И я делаю ее изо всех сил.

— А кому она нужна, такая работа? Присмотритесь к тем, для кого вы ее делаете. Не для себя же трудитесь, для них, понимаешь? Вокруг что ни человек, то аномалия. А вы их, знай, по линейке ровняете. Усвойте наперед простенькую мысль: где опаздывают психологи, там уже и психиатру делать нечего. . .

— Ну, это всерьез и надолго. — Маргарита соскользнула с подоконника и, как была нога на ногу, поплыла вниз.

Лина проводила ее глазами:

— Мы убили в человеке любопытство, цель, право на риск, на неиспользованное желание. — Она потрянула головой. — И знаешь, чем? Изобилием. Да-да, не смейся.

— Это уж слишком, Линушка. От изобилия еще никто не умирал.

— Пока нет. Но радость жить уже отравлена. Как-то личностей поубавилось.

— Наше общество. . .

— Оставь общество в покое. Мне четыре семестра читали социологию и шесть — историю.

— Все равно твои страхи беспочвенны. Мы. . .

Лина быстро прижала ему губы пальцем:

— У каждого явления два полюса. По-моему, мы не подумав шагнули к исполнению желаний. Всесилие рождает равнодушие. А равнодушие погубит Землю точно так же, как когда-то оно уже убило Марс.

— Еще один домysel. Много у тебя таких?

— Я жалею сейчас об изжитом эгоизме. Он бы

еще мог спасти нас. По крайней мере, подхлестнул бы любопытство. От любопытства не так уж далеко до заинтересованности. А нам бы теперь любую цель, хоть самую мелкую, лишь бы каждому. Насаждайте, ребятки, разумный эгоизм. Рано мы его похоронили.

Линка наклонилась над пластмассовым кубиком, шепула что-то, и эринния выпрямилась, успокоенно развернула листочки.

— Вот ты, Ралль: ты бы отдал свою рубашку первому встречному?

— Конечно. Шкаф изготовит мне еще дюжину на выбор.

— Элементарная расшифровка щедрости. И ты даже не заглянешь в лицо тому, кто к тебе обратится за помощью?

— Ну, почему. . .

— Потому, что мы безразличны друг к другу в своей пылкой любви к обществу. Понимаешь? К обществу в целом. А тот, с рубашкой, по нашей железной логике, не может быть обижен при нашем справедливом строе. Плевать на аномалии. Главное, у него тоже есть где-то такой же шкаф.

— Странная ты сегодня.

— Еще бы. Ты не хочешь меня понять! И все не хотят, отмахиваются. Дескать, истерика сентиментальной девицы!

Ну о чем она говорит? Зачем? Лучше бы уж добрая, старая, не оставляющая следов ссора! Ралль чувствовал этот нарастающий в ней день за днем страх. Но причины не находил. . .

— Ты хоть задаешь вопросы, выискиваешь странное. . . Не я, вы странные! Спроси вон у этих! — Лина кивнула за окно. — Думаешь, им очень весело? От скуки шалят. Боятся остаться наедине с собой. Играют в инфантильность, чтоб подольше не взрослеть. Ведь взрослеть — значит, задумываться. А задумываться вы уже давно разучились.

— Послушай, да кто, наконец, тебя обидел?

— Ты. И Янис. И Ростик. И директор института, который не поленился сегодня вылезти из готовой тронуться «Пчелки», чтоб только пожать мне руку.

Он тоже считает меня ничьей. А ничья — все равно что общая. Так, мальчики?

Ралль вслед за Линкой обернулся. Обе команды даджболистов, ступая на цыпочках по воздуху в затылок друг другу, подкрадывались к окну. Ростик и Маргарита тащили впереди огромное, наспех вырезанное из картона сердце, пронзенное стрелой, с кровавой надписью: «Джеральд + Лина = !!!»

— Так! — смущенно и дружно гаркнули игроки.

— То-то же. — Линка бодро улыбнулась. — Ну-ка, марш в лабораторию!

Радуюсь прерванному разговору (а вдруг все же обойдется без ссоры?), Ралль молча наблюдал, как ребята проплывали над подоконником внутрь. Столов и стульев не хватило, обутые в герметичные психологи рассредоточились вдоль стен от пола до потолка.

— Проведем наше совещание на высшем уровне, — прокомментировал событие Гуннар, вытягиваясь возле плафона и подложив локоть под щеку. Густая тень заслонила половину лаборатории.

— Выше некуда, — проворчал долговязый Эдик, умащиваясь по-турецки в воздухе над пультом «Резвой Мани».

Ростик надел свитер и демонстративно уселся за стол.

— Вот вам, мальчики, изящная проблемка. — Лина завела руку за спину. Помедлила. И швырнула на середину комнаты пластмассовый кубик с эриннией. Два мохнатых листочка затрепетали, не давая кубику опрокинуться. — Поломайте ваши умные головы!

— Видали мы такие проблемки! — лениво уронил сверху Гуннар.

И осекся: эринния сложила листочки, вытянулась в струнку. Она умоляла. Она была жалкой и немощной. Она взывала о помощи.

— Раньше за черную магию сжигали на кострах! — пробормотал Эдик, трижды подув над левым плечом.

— И сейчас еще не поздно, — раздумчиво заметил Ростик, то бишь Ростислав Сергеевич. — Говорят, сильно успокаивает нервную систему.

— Не торопитесь с выводами, нестандартщики! Сначала оцените мой дар.

— Зачем он нам? — Маргарита обиженно поджала губы. Столько внимания одной беспокойной девчонке? За что?

— Риточка! Не спорь с укротительницей диких марсианских хищников, — посоветовал Эдик. — Ужо напустит на тебя порчу, будешь знать!

Все засмеялись: Лина не делала секрета из своих «тревожных» гипотез. Маргарита всполохнулась, набрала в грудь воздуха и с фальшивым цирковым пафосом завопила:

— Выступает всемирно знаменитая Лина-балерина с группой дрессированных эринний.

— С группой? — Гуннар прыгнул на пол, невидяще уставился в Линкины глаза. — Действительно, ребята. Как они ведут себя в группе?

— Мальчишки, да в вас, кажется, просыпается любознательность? Я слышу вопросы. . .

Секунду в лаборатории стояла тишина. Смотрели не на Линку, смотрели на Ростика.

— Поздно уже. Рабочий день давно кончился. Энергию могут отключить! — слабо отбивался шеф. Уверенности не было в Роськином голосе.

— Мы мигом, Ростислав Сергеевич.

— В полчаса управимся.

— Ты даже мяч не успеешь разрядить!

— Ладно, — уступил Ростик. — И не говорите потом, что я зажимаю чужие идеи.

Лаборатория вмиг опустела. Психологи неслись по гулким коридорам, хлопали дверьми. Гуннар, чтобы не обегать здания, сиганул за окно. Через десять минут пол был уставлен эринниями в горшках, в бокалах, в пластиковых сетках на треногах, а одна торчала из незапаянной химической реторты. Багровые блики задрожали на полировке столов и в «маниных» экранах.

— Придется вас немножко пощекотать. — Ростик сдвинул столешницу, обнажил выносной пульт. — Магнитные искатели по вас плачут. Рентгеновская пушка по вас плачет. И пси-рецепторы тоже.

— А правда, что в третьем стационаре на Марсе эриннии подкараулили Голдуэна? — спросил Янис. — Подкараулили и уморили.

— Досужие выдумки стажеров, — возразил Эдик, пробуждая блок за блоком могучую «манину» память. — У него отказала маска, он задохнулся, его занесло песком. Вокруг холмика за несколько часов выросли тысячи красных цветов. . . По цветам его и нашли: эриннии валялись безутешные.

— Погибли? — поинтересовалась Маргарита.

— Вроде нет. Когда Голдуэна откопали, пришли в себя.

Снесенные в помещение растения — низкие и высокие, пушистые и не очень — вслушивались, жалобно трепетали. И вдруг разом понурили головы, склонились в умоляющих позах.

— Они что, на голос реагируют? — удивился Ростик. — Накройте-ка вон ту, крайнюю, вакуумным колпаком!

Лина пошла меж цветов, стараясь обнять их все слегка расставленными руками. Вслед этому движению эриннии поднимали головы, тянулись уткнуться в ее ладони. Даже та, под колпаком.

— Видите, они хотят нам что-то сказать. — Девушка стиснула руки. — А вы их — пушкой!

— Я говорил, дрессированные! — выдохнул Эдик.

— Погоди, — отмахнулся Гуннар. — Мы же столько лет его искали. . .

— Кого?

— Пси-индикатор. Нутром чую, братцы: он, бродяга! Теперь мы любую эмоцию препарируем, так, шеф?

— По меньшей мере, имеем пример откровенной динамической реакции на настроение. Другими словами, функция «пси». . .

— Вот вы уже и разобрались. — Лина грустно отступила к окну. — Новая «пси», новая «кси» — вам теперь надолго хватит. А если иссякнете. . . Кеша!

Нетопырь вздрогнул, расправил кожистые крылышки и спланировал Лине на голову.

— Ну, прическу мог бы и не портить! — Девушка одной рукой сняла нетопыря, другой поправила волосы.

— Когда ты успела его приручить? — попытался выяснить Ростик.

— Самый легкий вопрос для начальника сектора. Не бери в голову пустяков, зайняка. Вот тебе объект исследований!

Она размахнулась и вышвырнула Кешку за окно.

Все эриннии, кроме одной, из их лаборатории, побелели и рухнули в красноватую пыль.

— Чего они? — Гуннар сломался пополам, чуть не воткнулся в цветочные горшки носом.

— Им не доложили, что Кешка умеет летать. . .

Это, кажется, сказал Янис, Ралль не был уверен. Опять подкатила боль, он поморщился, потер грудь. Сейчас произойдет что-то страшное. Он ждал, стиснув зубы. И все равно не заметил, когда это началось.

— Бред! — Ростик возмущенно фыркнул. — Я не побоюсь и более сильного слова: мура!

— Что в переводе с древнезулусского. . . — Янис вопросительно поднял бровь.

— . . .означает «реникса», — пояснил шеф. Отстранил заслоняющего экран Гуннара и подошел к «Резвой Мане».

— Браво, браво! — Маргарита бурно зааплодировала.

— Одобрение публики — не аргумент в научном споре, — возразил через плечо Эдик, манипулируя клавиатурой. — Сейчас высветим. . . Блеск!

На экран выплыло изображение Кешиноного мозга, опутанного «сеткой Фауди». По ней, от узла к узлу, скакали огоньки, фиксируя зону двигательных центров. Эдик поколдовал еще чуть-чуть. Грохнул по пульту кулаком — машина всегда лучше понимает, ежели ее кулаком! — и приглашающе поклонился в сторону окна. В лабораторию, подчиненный чужой воле, как-то боком, неестественно взмахивая крыльями, влетел Кешка.

«Чудик! Снизь порог на сетке», — запоздало подсказал. Ралль. Мысль не додумалась: эриннии выпрямились, стряхнули пыль, удивленно развели листочками.

— Что и требовалось доказать! — Эдик победоносно развернулся вместе с креслом.

— Мура! — упрямо повторил Ростик. И спря-

тался от ропота сотрудников под «манин» шлем.

— Ну, я пошла, мальчики, — сказала Лина. — Доспорьте тут без меня.

— О чем? — Это, конечно, Маргарита с ее галантностью, как у того робота.

— Об эгоизме. Об аномалиях. О том, что один человек ничего не решает.

— Но все это первоисточники, Лина! — добродушно пробасил Эдик.

— Их тоже писали бородатые мальчики вроде вас. И наверное так же увлекались деджболом. А девочки рядом зря себе выдумывали сиреневые глаза.

Все как по команде взглянули на стол Иечки Стулман.

— Послушай, молодое дарование! — Ростик, загадочно улыбаясь, высунулся из-под шлема. — Бросай свою палеофренологию, переходи к нам. С такой головой мы тебя быстро остепеним.

— Нет уж. Лучше вы к нам, дорогие психологи. Я имею в виду — к людям. Кончайте играть в ваши кошки-мышки, Кешки-Мимишки! Умоляю, вернитесь к человеку. А то опоздаете.

— Интересно, из каких астрологических справочников ты черпаешь информацию?

— Думаете, зря переполошились эриннии? Гибель одной цивилизации они уже пережили.

— Кстати, об эринниях. — Ростик посерьезнел. — Готов спорить и ставлю за это свое место в центре нападения против. . . — Он нарочно сделал паузу.

— Кубинской марки с черепахами! — принял пари Эдик.

— Двух пирожных, которые я не съем завтра за обедом! — с комическим вздохом предложил Гуннар.

— Детективных очков Яниса!

— Секрета расцветки моих галстуков!

— Нет, коллеги. Против улыбки нашей очаровательной Кассандры.

— Неоригинально, но все равно приятно. Принимаю, — согласилась Лина.

— Так вот. Спорим, что все эти угрюмые цветики

взволнованы не фактом предполагаемой смерти какого-то нетопыря, а общим уровнем жестокости в лаборатории. На неожиданный жест «укротительницы» не последовало ни слова протеста.

Кто-то удивленно свистнул:

— Доказательства, шеф?

— Попробую. Эринниям ничего не известно про мои гермески, так?

— Кроме нашей, которую ты приволок с выставки и самолично пестовал, — уточнил Гуннар.

— Одна она дела не меняет, пусть будет контрольный экземпляр. Если прав Слуцкий, эриннииотреагируют так же, как и с Кешкой: падут ниц.

— Постой! — Лина внезапно схватила его за руку. — Не сегодня, пожалуйста.

— Что ты себе позволяешь? — возмутилась Маргарита, но шеф мягко отстранил ее:

— Прости, Лина, не понял.

— Хватит на сегодня.

— На этот счет существует два мнения: одно мое, другое — ошибочное.

— Не балагань, Ростислав! Я знаю твоё отношение ко мне, мне оно безразлично. Так вот заклинаю тебя самым дорогим: отложи что задумал. Пусть это тебе покажется смешным и нелогичным, но я прошу, посмотри на эринний: сегодня твоё везение кончилось. Не хочешь мне — им поверь!

Лина махнула рукой — цветы согласно качнули головами.

— Теряем время! — не выдержала Маргарита.

— Погоди, Рита. Пусть человек выскажется.

— «Выскажется»! Будто я могу что-нибудь объяснить. Да, я ненормальная, психованная, называй как хочешь, только услышь. Сдайся, пережди, но согласись! Ты сильный, лихой, удачливый, что тебе стоит один раз уступить? Ведь тебе все равно. В конце концов, бывают такие случаи, когда надо вслепую верить, а? Просто так. На слово. Без доказательств. Хотя бы из оригинальности. Чтоб потом похвастаться. . .

— Пока ещё здесь я командую, девушка, — парировал шеф. — На правах начальника сектора, разумеется. Вперед, друзья!

Лина отвернулась от него, пошла на психологов:

— А вы чего стоите? Уговаривайте! Удерживайте! Не пускайте! Боитесь? Как же, одна девчонка целую лабораторию переубедила. Заставила решать — вопреки логике, не думая... Но у меня больше ничего нет против вашей голой логики, парни, чтоб ей тут вот так и засохнуть! Только боль и крик...

Она повернулась к Раллю, звенящим голосом спросила:

— Ралль! А ты почему молчишь? Ты-то ведь знаешь... Не молчи. Скажи им. Тебя они послушают.

Но Ралль не разжал губ. Он не знал, он просто чувствовал в отчаянной тишине, что ему плохо. А будет еще хуже. На мгновение Линка в его глазах слилась с поверженной в прах эриннией. Она искала его взгляда. Но Ралль не поднял глаз, не шагнул навстречу. Не столько из опасения выглядеть смешным, сколько из страха выйти в мир с неточными, неопределенными мерками — ощущением и настроением. Нужно было сделать усилие, чтобы покинуть стандартный поток чужих мыслей и удобных поступков. А у него на такое усилие уже не доставало решимости. В чем-то он предавал сейчас и Ростика и Линку. И все же не мог заставить себя вмешаться.

— Ну, братцы, довольно слов! — Шеф благословляющим жестом воздел длань. — Теперь я просто обязан выбить лирические сомнения из наших рациональных душ. Иначе я перестану себя уважать. А эмоции, девушка, сохрани для Джеральда. У него на них больше прав. Давайте, коллеги!

Ростик подпрыгнул, завис в метре от пола, скрестил руки на груди. Психологи ринулись к нему, спинами загородили от настойчивых Линкиных глаз.

— Я не хочу-у! — закричала девушка, утыкаясь Раллю в плечо. — Задержи их, Ралль! Запрети...

Ралль машинально погладил ее по голове — отстраненно, даже равнодушно, как мимоходом утешил бы незнакомого плачущего ребенка. Он ничего не понимал. Какая-то стена встала между ним

с его работой и Линкой с эринниями. Стена становилась тем неразделимее, чем крепче втискивалась Линка в его плечо. Он нащупал на Линкиной шее тоненькую платиновую цепочку, на которой — он знал — висит серебряная скифская монетка. Накрутил цепочку на палец. Отпустил. Поверх тугого узла Линкиных волос смотрел и смотрел в «манин» экран.

Психологи раскачали Роську, метнули за окно. Кое-кто высыпал следом — снижались, кувыркались, приплясывали на лету. Но фигурка в профессорском свитере вытянулась, стремительно обогнала всех. Истошный вопль прорезал двор.

— Ого! Шеф в своем репертуаре.

— Что ни спуск, то экспромт!

— Ха-ха, в этот раз он даже клумбу не пощадил.

Роськино тело проломило зелень, скомкалось, врываясь в мягкую почву, смешалось с изломанными и опрокинутыми цветами. Медленно, в два движения выпростал головку с необлетевшими лепестками алый тюльпан. . .

Маргарита подлетела первой, повисела над клумбой, подняла к небу застывшее, без выражения лицо. «Маня» на весь экран выхватила ее потерянные глаза, в уголках которых быстро накапливались слезинки. И за эти вот глаза, за эти слезы Ралль сразу простил ей все ее дурацкие выходки. «Обыкновенная баба, — подумал он. — Влюбленная, сентиментальная, гордая, а все равно баба!»

Как в замедленной съемке беззвучно опрокинулся желтый кубик с отпиленной гранью. Эринния надломилась. И тихо повалилась на пол. Остальные уже лежали в марсианской пыли, бессильно разбросав мохнатые листики-руки.

— Все. Доигрались, — бесцветно сказала Лина.

Она стерла что-то невидимое с лица и тяжело пошла прочь, мимо нехотя расступавшихся психологов. Дверь отворилась, выпуская ее из лаборатории, долго не закрывалась.

— Прощайте, одинокие нестандартщики. Не обижайся, Ралль.

. . . Однажды она уже уходила. Справа была серая стена дома. Слева — стена деревьев. Асфальт сле-

зился под ногами, мелким туманом сочились сумерки.

— Дай мне что-нибудь на память. Я должна быть сильной.

Он порылся в карманах.

— Вот. Хочешь?

Серебряная скифская монетка с портретом царя.

— Спасибо. Я повешу ее на цепочке. Как старинный медальон.

Она коснулась мокрой рукой его щеки:

— Уходи. Ты первый, слышишь?

Он не ответил.

Линка повернулась. И пошла между стенами. Между домами. И между деревьями. Ветер качал провода, и фонари скорбно кивали в такт ее медленным шагам. У одного фонаря был плохой контакт — маленькая искорка то вспыхивала, то гасла. Ралль смотрел на Линкину мальчишескую спину, на гладкие высокие волосы, на ее совсем не эталонные ноги. И слушал сердце. Когда боль стала невыносимой, Линки уже не было видно.

«И не надо. Не надо!» — убеждал он себя, насильно выпрямляя мускулы лица, закаменевшие в гримасе улыбки.

И боль прошла. Остались только дождь и одинокая искорка.

Но тогда она уходила не навсегда. Еще не было эринний, не было предательства, не было любви, через которую необходимо перешагнуть.

Ралль сделал два шага к двери, остановился, обвел глазами лабораторию. Ничто не нарушило тишины. «Маня» смотала лабиринт, и Мими, цокая коготками, юркнул в норку, подобрал бесполезный хвост.

— Но почему, почему? — с силой произнес Эдик, горбясь над пультом.

Да какая разница, почему? Может, прохудились герметики. Или Ростик не уравнил поле. Или на долю секунды поверил Линкиной интуиции. Какая теперь разница? Причины — это дело не их лаборатории.

Огненные камышинки одновременно дрогнули, выпрямились, умоляюще свели свои говорящие

листочки. Но Ралль видел одну — побелевшую, в опрокинутом желтом кубике, припорошенную высыпавшимся на линолеум красноватым марсианским грунтом. Роськина эринния совсем по-человечески не перенесла этой нелепой, случайной, невозможной в нашем мире и все-таки состоявшейся смерти.

Их называли эринниями не в память об эриниях, богинях мести. Но что-то от овеществленного проклятия в них несомненно было. Древние почитали эриний и как богинь раскаяния. Но совсем под другим именем.

Под каким — Ралль не вспомнил.

2р50к



СП "СМАРТ"